

6. С ТОГО СВЕТА



Сколько времени пришлось мне побывать на том свете, не знаю. Не догадался на часы посмотреть ни до, ни после. Но, видимо, недолго, иначе мне бы оттуда не вернуться... И скажу точно, что не видел я никакого длинного тоннеля с неким туманным сиянием вдали, как описывают это некоторые люди, побывавшие на грани жизни и смерти. Просто меня в это время не было, не существовало.

И вот я возник и открыл глаза, но сразу же их закрыл, так как прямо в лицо мне был направлен луч электрического фонарика. Я лежал на спине на гряде битого, кирпича, кто-то поддерживал меня за плечи, а другой обматывал мою голову бинтом.

«Зачем? — тупо подумал я. Никакой боли в подбородке я не ощущал, боль, сильнейшая, невыносимая была во всем остальном теле, как будто все оно было разорвано на мелкие кусочки, которые как раз и нужно было как-то собирать вместе, а не мотать что-то на

голову.

Люди, которые занимались мной и которых я не видел, тихо переговаривались между собой, но говорили они не по-русски и не по-немецки. Тогда я особого внимания на это не обратил, но впоследствии мне пришлось немало об этом поразмышлять. И не только мне.

Меня подняли под руки с обеих сторон, и я сделал несколько шагов, но на этом мое путешествие и закончилось: сильнейшая боль в груди молнией пронзила меня, почему-то справа налево, в глазах взметнулось красное пламя, и я снова полностью отключился.

Мне кажется, что во время этого скорбного пути, когда меня вели (несли? тащили?), я несколько раз приходил в сознание и снова терял его, но категорически утверждать это не буду — уж больно память моя в тот момент была ненадежной.

А вот уже нечто более определенное. Я нахожусь в полулежащем положении на каком-то старом рваном диване и пытаюсь осмотреться. Помещение небольшое, похожее на блиндаж. В дальнем углу на грубо сколоченном из досок столике горят две немецкие свечки-плочки. В блиндаже несколько человек. Ближе всех ко мне стоит высокий человек в шинели и высокой фуражке. Я сразу решаю, что это офицер. На рукаве шинели читаю надпись на черном фоне «Вестланд». Против нас в последнее время действует немецкая дивизия СС «Викинг», а она состоит из трех полков: «Нордланд», «Вестланд» и «Дейчланд».

Значит, я у НЕМЦЕВ.

Дальше, у противоположной стены, стоит человек, хотя и плохо мной видимый, но он в военной форме. У входа я вижу две трудно различимые фигуры, но они явно не немцы. И все ведут какой-то разговор, которого я не понимаю, да я его и не слушаю.

И снова красное пламя, и я потихоньку начинаю сползать с дивана. Офицер резко

поворачивается, хватает за плечо и не дает мне упасть на пол, а дальше я уже ничего не вижу и не слышу.

Потом просвет в несколько минут, меня укладывают на носилки, выносят наружу и вместе с носилками устанавливают в санитарный автомобиль на второй ряд. Внизу кто-то стонет.

Автомобиль трогается с места, и на первой же ухабине я снова ухожу в небытие.

Когда я окончательно прихожу в сознание, я лежу на полу на мягкой подстилке в большой, ярко освещенной комнате, а два седобородых осетина в папахах и черкесках раздевают меня. Они уже все сняли с нижней половины моего бедного тела, и в момент, когда я открыл глаза, я вижу в руках одного из них мою гимнастерку, вся грудь которой залита кровью. Моей кровью.

Они заканчивают свою работу и, негромко переговариваясь, уходят, а возле меня сразу же появляется пожилая женщина с тазом теплой воды.

Она мокрым полотенцем вытирает все мое тело за исключением, конеч-но, спины, ибо перевернуть она меня не в силах, а сам я и вовсе ни на что не способен.

Затем два санитар в белых халатах и с зелеными немецкими пилотка-ми (или кепи. Как их правильно назвать, я не знаю) на головах надевают на меня длинную, ниже колен, белую рубаху, укладывают на носилки и несут в операционную.

Операционную описывать не буду, я ее плохо рассмотрел, да и все ее много раз видели в многочисленных кинофильмах о войне. Я лежу на столе в этой длинной рубахе, без кальсон и без трусов, вокруг меня, как мне показа-лось, суетится много людей, но я их почти не вижу, потому что не могу повернуть голову и гляжу только вверх.

Подходит сестра, разрезает ножницами возле ушей намотанную на голову груды бинтов и начинает потихоньку снимать ее. Кровь уже во многих местах засохла, отдираание бинтов от кожи причиняет мне боль, но эта боль ничто по сравнению с той, которая сейчас во всем моем теле. И только когда сестра добирается до подбородка, я начинаю понимать, что и с бородой у меня что-то не в порядке.

Бинты сняты, надо мной наклоняется несколько голов с марлевыми повязками на лицах, короткие команды, другая сестра с огромным шприцем, наполненным какой-то желтой жидкостью, начинает обмывать мой подбородок, а другая влажным тампоном оттирает щеки, шею, нос.

Потом уколы, много уколов, в щеки, в шею, в скулы.

Последнее, что я видел, это склонившееся надо мной лицо, пожилой муж-чина в очках с тонкой золотой оправой, внимательные глаза. Он поднял вверх руки в перчатках, и в них каким-то чудесным образом (я не заметил, чтобы их кто-то подал) вдруг очутились предметы: в одной — маленькие остроконечные ножницы, а в другой — пинцет.

Потом мне положили на глаза сложенную в несколько слоев марлю, и я больше ничего не видел. Но чувствовал и слышал все. В моем подбородке долго копались, что-то разрезая, что-то вытаскивая; иногда слышался скрежет металла о кость. Боли, можно сказать, не было, а я все время думал, сколько же это осколков влетело в мою несчастную бороду. Это я тогда так считал. И только уже через несколько месяцев, когда один из еще не полностью заживших шрамов вдруг воспалился, и я собственными ногтями вытащил из вскрывшегося и загноившегося шрама маленький кусочек кости, я понял, что выискивали и вытаскивали не осколки металла, а кусочки моей собственной раздробленной кости.

Потом, конечно, зашивали, потом отнесли в палату и уложили на койку.

И вот я лежу на койке и соображаю. Должен заметить, что когда я в течение всего этого рассказа много раз говорил, что я терял сознание и снова приходил в себя, я выражался, по-видимому, не совсем точно. Слово «очнул-ся» в русском языке означает переход от бессознательного состояния в сознательное, а я все это время не мог

утверждать, что я хоть какой-то миг был в полном сознании, то есть мог соображать, размышлять и как-то анализи-ровать ситуацию, а находился в каком-то сумеречном, затуманенном даже от внешней жизни состоянии и плохо понимал, что же такое со мной делается. И вот только теперь, лежа на койке, я в состоянии применить свои мысли-тельные способности, то есть нахожусь в полном сознании.

Начинаю размышлять. Я нахожусь в немецком госпитале, и я тяжело ранен. Первое обстоятельство меня не обеспокоило, и только через пару лет я начал задумываться о том, как я туда попал. Сейчас же меня инте-ресовало только мое физическое состояние: что же у меня повреждено и в какой степени. Или я действительно разорван на мелкие куски, и все чувства, сообщавшие мне о целостности отдельных частей моего тела, про-сто-напросто врут? Я ведь где-то, читал, что у человека, потерявшего ногу лет двадцать назад вдруг начинает чесаться большой палец этой самой, давно оторванной ноги. Так же может быть и у меня. Начинаю генеральную проверку. Ощупываю руки и даже подсчитываю пальцы -все в порядке, С ногами гораздо хуже: нужно как-то изгибаться, а это причиняет такую боль, которую я вынести не в силах. Но нужно — значит нужно. Справляюсь и с ногами, хотя пальцы пересчитывать не стал, Бог с ними, а ноги целые.

Мне бы порадоваться, но все-таки сильнейший психологический удар я получил. Ощупывая левой рукой свою грудь, я вдруг понял, что не слы-шу биения сердца. Еще раз — то же самое. Сердце у меня остановилось, а я опять же в какой-то брошюре читал, что через полторы минуты после остановки сердца человек умирает. Надо звать врача, а говорить я не могу, весь низ головы окаменел, рот не открывается, и единственные звуки, которые я могу издавать — это мычание. Я и мычу. Подходит сестра, бор-мочет что-то утешительное, поправляет одеяло и удаляется. Я снова мычу, хотя это причиняет мне дополнительные мучения. Она приходит снова, и снова то же самое, гладит меня по плечу и уходит. Я хочу сказать: «Что ты, дура, меня гладишь? Я ведь умираю или даже уже умер!»», но удел немого — мычать, а мычание здесь, видимо, не средство общения.

Я решил умирать, и это меня не очень огорчило, как будто умирает какой-то далекий неизвестный мне дядя. Видно, человек может находиться в таком состоянии, что его собственная смерть уже не является для него чем-то важным. Стало быть, в таком состоянии был и я.

Умирать, так умирать, но как раз в это мгновение у меня мелькнула некая мысль, а через минуту она превратилась почти в уверенность. Ведь после того, как я обнаружил у себя остановку сердца, прошло уже не полторы минуты, а по меньшей мере минут двадцать, а

я все еще жив. Я еще раз пощупал грудь, ничего не услышал, попытался нащупать пульс на руках — не нашел. Ну и ладно, буду жить и без пульса. Позже я сообра-зил, что грудь у меня была сильно распухшей, и я не мог услышать то, что мне так сильно хотелось. Что касается рук, то я просто не знал, где этот самый пульс искать.

Несмотря на такие утешительные умозаключения, состояние мое было очень плохим. Я лежал на правом боку и когда захотел перевернуться на спину, мне это не удалось: сильнейшая, невыносимая боль пронзила грудь, и где-то в груди, поближе к горлу, послышалось явственное бульканье. Я еще раз ощупал встревожившее меня место и не нашел никаких наружных повреждений, но при очередной попытке хоть немного повернуться, про-клятое бульканье повторилось. Что это было, я не знаю до сих пор. Скорее всего, разладились какие-то нервные коммуникации и стали передавать ка-кую-то неверную информацию, но мне от этого легче не было.

Обнаружились неполадки с головой. Я хотел повернуть голову, а она не повернулась. Я тщательно обследовал шею, но никаких повреждений не на-шел, болезненных мест не было, шея нормально реагировала на нажимы и щипки, но моих команд не слушала и голову не поворачивала. Выход я нашел простой: когда мне надо было повернуть голову, я подсовывал левую руку под кокон головы, немного приподымал его и укладывал его в нужном поло-жении. Без боли и приключений.

Вскоре выявилось еще одно обстоятельство. Оказывается, я все время из-даю стоны, при каждом выдохе: «О-о-о, о-о-о». Я сразу же вспомнил, как ге-рои-большевики по свидетельству многих художественных и нехудожествен-ных произведений под страшными пытками царских сатрапов и белогвардейс-ких палачей терпели невыносимые муки, не произнося ни звука, ни стоны.

Попробовал и я, и мне это удалось. Но ненадолго. Я сразу же уразумел, что это состояние очень трудно удерживать, нужно все время как-то сосре-дотачиваться и держаться в напряжении, мобилизовав всю свою волю. К тому же, издавая стоны, хоть немного легче переносить боль.

И я пустил свои стоны в свободное плаванье, тем более, что в нашей палате стоны раздавались со всех сторон, палата была для тяжелых, врачи и сестры часто появлялись между коек, а пару раз из нашей палаты вынесли кого-то на носилках.

Первая попытка судьбы отправить меня на тот свет не удалась. Хотя и с немалыми трудностями и муками, но я оттуда возвратился. Я решил жить!

7. ОТ ТЕРЕКА ДО ДНЕПРА



Легко сказать — жить. Что-то мое существование никак нельзя было на-звать жизнью. Это было сплошной непрерывной мукой, и не где-то, в отдель-ном месте моего несчастного тела, а болело все, каждый кусочек, каждая клетка, а все нервные волокна работали в непрерывной режиме, посылая горестные сигналы в измученный мозг. Но, жить все равно, надо.

Пробыл я в таком полуживом состоянии в этой палате приблизительно суток двое; ко мне подходили врачи и сестры, что-то потихоньку обсуждали, но никаких процедур не выполняли. Подносили какую-то еду, но есть я не мог, и все это уносилось обратно, только всякие сладости, вроде конфет или печенья, оставались в тумбочке, а потом было сложено в бумажный мешок, который все время так и путешествовал со мною.

Был декабрь месяц, немцы после катастрофы под Сталинградом начали отвод своих войск с Северного Кавказа. Настала очередь и нашего госпиталя. Нас грузили в санитарные автомобили и везли куда-то. Путешествие было недолгим — так мне

показалось, или же я опять проехал этот путь в бессознательном состоянии.

В новом госпитале за мной ухаживала русская санитарка, пожилая женщина с добрым русским лицом. Она и рассказала мне, что я нахожусь в Георгиевске, а привезли меня из Прохладного. Откуда она узнала, что я русский, не знаю, но она подолгу сидела возле меня, горестно вздыхая. Возможно, вздыхала она не столько обо мне, сколько о себе. Яков Айзенштат в своей книге «Записки секретаря военного трибунала», изданной в 1991 году в Лондоне, писал об одном случае в поселке Артемовскуголь на Украине: «Медицинские сестры местной больницы остались в поселке. Выяснились все обстоятельства, связанные с организацией медсестрами госпиталя для немцев. Было проведено расследование, и десять медицинских сестер предстали перед Военным трибуналом 12-й армии... Был оглашен приговор, по которому все медицинские сестры приговаривались к расстрелу». Конечно, утверждение, что русские медицинские сестры могли «организовать» немецкий военный госпиталь, было чистейшим бредом в духе тогдашней советской юстиции, но людей расстреливали и по менее значительным обвинениям. 12-я армия действовала на Северном Кавказе. Возможно, и эта добрая женщина попала под этот кровавый сталинский каток.

Движение на запад продолжалось. Теперь наш железнодорожный эшелон состоял в основном из обыкновенных товарных вагонов, пол которых был устлан соломой, на которой мы и располагались, человек по пятнадцать на вагон, с одним солдатом-санитаром, который и кормил всех (кроме меня), и перевязывал, при необходимости, опять же кроме меня. Подойдет, посмотрит, покачает головой и отходит — не решается. Гной уже выступал у меня из-под повязки, запах — отвратительный, тем более, что отвернуться, чтобы его избежать или ослабить, возможности у меня не было; я так и лежал все время на правом боку.

Подъехали к Ростову, вроде бы эшелон наш начали разгружать, но скоро прекратили, и эшелон двинулся дальше.

Окончательно выгружены мы были в Таганроге. Меня на носилках внесли на 2-й этаж и уложили на койку. Палата — большая светлая комната, в ней больше десятка коек, моя — первая от двери, у широкого окна. В палате все раненые — челюстники, разной степени тяжести и разной степени выздоровления, кто-то уже бегаёт по всему госпиталю, а кто, как и я, еще не может встать с постели. На одного просто страшно смотреть, у него полностью нет нижней челюсти, как-то там натянута кожа, а в рот вставлена трубка, через которую он и питается. Кстати, некоторое время спустя, когда я уже начал помаленьку, невнятно и шепеляво, что-то произносить, один врач сказал мне,

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

что, если бы «мой» осколок прошел на один сантиметр выше, у меня бы челюсти не было совсем. Бог миловал.

Я не успел еще как-то отойти от мучительной боли, вызванной укладкой-перекладкой моего тела на носилки и с носилок, как меня снова на носилки и в операционную на перевязку, долго обмывали из большого шприца гной, перевязали, отнесли в палату и оставили в покое. Но не совсем. Здесь меня в первый раз покормили — напоили горячим молоком с сахаром. Даже эта процедура была для меня нелегкой, рот у меня не открывался, нужно было это молоко процеживать как-то через стиснутые зубы. Было это 24 декабря 1942 года, я хорошо это заметил, потому что на следующий день было католическое рождество, и в госпитале происходила соответствующая суматоха. Значит, я не ел одиннадцать суток.

Моя неторопливая и несладкая госпитальная жизнь продолжалась. Каждый раз день начинался с одного события: в палату врвалось юное узколи-щее конопатое создание с тазом теплой воды и с восклицанием: «Начнем умываться», сразу подсаживалось ко мне, потому что я первый от двери палаты. Собственно, умывать у меня по большому счету было нечего: я был забинтован сверху до бровей, а снизу — включая нижнюю губу. И она мне только протирала влажным теплым тампоном нос и немножко вокруг носа, и при этом что-то щебечет-щебечет, блестя зелеными глазами и встряхивая своей огненной копной. Затем то же проделывала с моими руками и отбывала к другим раненым.

Кормили меня молоком с сахаром и какими-то бульонами, к концу была попытка попробовать какую-то кашу, но из этого, ничего не получилось.

Сначала меня носили на перевязку каждый день, потом через день. Однажды сестра, сняв с меня бинты, дала мне зеркальце и я, посмотрев в него, увидел свою развороченную бороду, но в ужас меня ввело другое — мои глаза. То, что в глазах нормального человека было белым, у меня было густо красным, прямо цвета знамени победившего социализма. Уловив, видимо, мое огорчение, врач сказал мне что-то утешительное, а сестра похлопала по плечу и, в свою очередь, произнесла несколько слов по части любви и девушек. К этому времени я уже начал кое-что понимать из немецкой речи, если, конечно, говорить медленно и короткими фразами. Но обычная немецкая речь быстрая, а в отношении немецких длинных слов и таких же длинных фраз еще ехидничал сам Марк Твен.

Сильно смущало меня применение таких знаменитых больничных предметов, как судно и утка. Оно и понятно: как еще почувствовать себя семнадцатилетнему мальчишке станичного воспитания, которому молодая девушка подсовывает под голую задницу указанный неприличный предмет. Краснел я, видимо, невероятно, хотя и краснеть у меня было нечему, а носы, как известно, краснеют совсем от других причин. Я никогда сам не просил ничего при нужде, но санитарки догадывались сами. А так — терпел.

Однажды я решился, при возникшей необходимости, сам отправиться в далекое тогда для меня путешествие в туалет, выбрался в коридор, прошел шагов десять, держась за стенку и... упал. Меня быстро водворили на место, и старшая медсестра, высокая строгая немка, долго, сидя на краю моей койки, выговаривала мне, а я лежал и понимал, что мне надо улыбнуться и сказать ей, что я больше не буду, но ни того, ни другого я сделать не мог: что это за улыбка одной верхней губой? Наконец, она поняла по моим красным глазам, что раскаиваюсь, помахала у меня перед носом своим аристократическим пальцем и ушла. Больше я таких попыток не предпринимал.

Недели через две моего пребывания в Таганроге я начал произносить какие-то звуки, и ко мне подсел Фриц, солдат из нашей палаты, уже, по моему совершенно здоровый, так как он обычно с утра одевался в мундир и целый день болтался по госпиталю, любезничая с сестрами. Это только в сочинениях соцреализма советский солдат, попав в госпиталь по ранению, днем и ночью мечтает о том, как бы скорей сбежать из госпиталя на фронт, чтобы биться за Родину. По моему, любой солдат любой армии никогда не торопится покидать медицинское учреждение. Так и Фриц. Возможно, его придерживали еще и потому, что он неплохо говорил по-русски.

А подошел он ко мне, чтобы заполнить мои больничные документы, которые ведь до сих пор были без никаких моих данных, и был я Иваном Беспрозванным, а возможно, и Беспрозванным Гельмутом.

Имя и фамилию он записал быстро, а вот в отношении воинского звания (а в анкете военного госпиталя такая графа присутствует обязательно) вышла заминка.

— Воинское звание? — спрашивает Фриц.

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

— Легионер, да?

Я знал еще из советской прессы, что в вермахте уже имеются нацио-нальные формирования из граждан СССР: грузинские, татарские и др. Види-мо, Фриц так и подумал.

— Нет, — говорю я, — я военнопленный.

— Так писать нельзя, это же военный госпиталь.

— Но я же военнопленный!

Что он написал в моих документах, я не знаю, но с тех пор врачи и сестра называли меня «кляйне большевист», то есть «маленький большевик». Но отношение ко мне не изменилось.

Тем временем фронт не стоял на месте, и наш госпиталь тоже пришел в движение. Нас погрузили в эшелон и перебросили в г. Макеевку, где не про-изошло никаких запомнившихся событий, а через несколько дней я снова в эшелоне, который направляется в г. Сталино, ныне Донецк. А вот в городе имени великого вождя хватил я беды свыше всякой меры.

Наш санитарный эшелон прибыл в Сталино ночью и был поставлен на четвертом или пятом пути от платформы, куда подходили автобусы для пере-возки в госпиталь. Открыли двери вагона, в него сразу хлынул жуткий мороз. Январь все-таки.

В любом медицинском учреждении больных подразделяют на «лежа-чих» и «ходячих», причем граница между ними во всех аспектах больничной жизни достаточно резкая. В событиях этой морозной ночи граница между этими категориями раненых была чуть ли не границей между жизнью и смер-тью. Как только дверь вагона открылась, и стали

видны стоявшие на платформе санитарные автобусы, «ходячие» сами или с небольшой помощью сани-тара выбрались из вагона и через пару минут уже были в автобусах. С нашим же «лежачим» братом дело затягивалось, а он тем временем замерзал на соломе. Сама технология выгрузки не позволяла осуществить ее в приемле-мом темпе. Для этого нужно бышо двум санитарам взобраться с носилками с земли в вагон, уложить раненого на носилки, более или менее укутать его, подтащить носилки к двери вагона, стащить носилки вниз, перенести метров на двадцать к платформе, поднять наверх, самим влезть на платформу и отне-сти носилки к автобусу.

Вот и вопрос: сколько же нужно бышо санитаров, чтобы проделать все описанные процедуры с несколькими сотнями раненых? Сразу же стало ясно, что такого количества санитаров в наличии нет, и руководящие выгрузкой врачи стали ходить вдоль эшелона, призывая раненных, если кто хоть чуть в состоянии двигаться, пусть продвигается своим ходом до платформ. И мно-гие решились на это. Я тоже решил не замерзать под тонким одеялом и шине-

-71 -лью, считая, что смогу «хоть чуть». Санитар быстро поднял меня с соломы, одел на меня мою ефрейторскую шинель и больничные тапочки, помог спу-ститься на землю и пустил в свободное плаванье.

И я пошел. И не я один. Это был адски страшный путь. Если бы я, будучи кинорежиссером, захотел бы показать массовые страдания людей, я бы выб-рал именно этот наш путь. Кто идет ногами, кто пытается передвигаться на всех четырех, кто ползет и для кого каждый очередной рельс является почти непреодолимой преградой. Стоны, крики, плач, даже какой-то вой. В несколь-ких шагах впереди меня движется пара обнявшихся солдат, укрытых одним одеялом. Два шага сделают, потом стоят, шатаясь и крепко держась друг за друга, потом опять два-три шага. Я двигаюсь в таком же режиме, только один. На половине пути мне полностью отказало зрение. Ничего, не вижу, кроме красного пламени, передвигаю ноги, вытянув вперед руки, в голове — одна мысль: «Дойду-не дойду! Дойду — не дойду?» Споткнулся о рельс, закачался, закружился, даже коснулся одной рукой чего-то, ледяного, но не упал.

Дошел и упал, уже совершенно неживой, грудью на оледенелый бетон, а буквально через несколько секунд меня выдернули вверх, как редиску из гряд-ки и посадили в автобус.

Но на этом мои злоключения не закончились. Уже в здании госпиталя, оказывается, регистрировали прибывших раненых. Когда подошла моя очередь, регистратор обер-ефрейтор записал мои имя-фамилию, спросил о воинском звании, увидел на моей шинели ефрейторский угол, произнес: «А, ефрейтор» и собрался так записать, черт меня дернул возразить, что я, мол, никакой не ефрейтор, а военнопленный, то он заорал на меня что-то вроде: «Вон из госпиталя!» Слава Богу, что он не начал самолично выталкивать меня из здания, наверно, по причине занятости.

Я вышел в коридор, остановился у стены, опираясь на нее, и чувствую, что вот-вот упаду. Но не успел: бежавший мимо меня санитарный унтер-офицер пожилой, можно сказать, дедок, с усиками а ля Гитлер, остановился напротив меня, спросил, не из сегодняшнего ли я эшелона и в ответ на мой утвердительный кивок остановил двух санитаров, сам почти бегом направился по коридору, за ним эти два бугая, а я между ними, когда достаю ногами до пола, а когда и нет.

Забежали в палату, унтер указал на койку, санитары быстро сняли с меня шинель и тапочки, уложили на койку и исчезли.

Вот и спрашивается, много ли человеку нужно для счастья. Господи, какое это было блаженство: лежать в теплой комнате, на мягкой постели, укрытым приятным, даже каким-то нежным одеялом. Правда, я несколько беспокоился относительно криков того обер-ефрейтора, но никто меня больше не беспокоил. А через полчаса мне принесли для полного моего счастья и мой бумажный мешок, который я оставил в вагоне.

В госпитале города Сталино, я пробыл всего три дня, и ничего запомнившегося за это время не произошло. А вот «сталинская» встреча на железнодорожной станции настолько врезалась в мою память и, наверное, по Фрейд-ду, в подсознание, что и по сей день я четко представляю в мыслях эту картину, которая и снилась мне за всю мою жизнь не один раз.

Во время переезда в Днепропетровск со мной опять произошло что-то нехорошее: я несколько раз терял сознание, и меня снова поместили в палату для тяжелых, каждые два часа меряли температуру, а я лежал полумертвый и с тоской смотрел на диаграмму, где линии: красная — температура и синяя -пульс (так, кажется) все время поднимались все выше и выше. Красная уже перебралась через 40°, я просто горел. В одном рассказе О.Генри больная девушка смотрела осенью в окно, где с дерева опадала листва и была

уверена: когда с дерева упадет последний лист, она умрет. Я тоже был уверен, что когда красная линия дойдет до отметки 41 °, я умру, и уже был готов к этому, меня безжалостно кололи ночью и днем. Я ночью почти не спал, и по своему состоянию, да еще в соседней комнате, куда ход был через нашу палату, по-стоянно кричал диким голосом какой-то раненый. Как-то раз ночью его вы-несли оттуда накрытым простыней, стало быть, в морг. Отмучился, бедняга.

Я не дождался намеченного мной рубежа. Красная линия оказалась бо-лее милосердной: не дойдя пары миллиметров до прощания с жизнью, она двинулась по горизонтали, а затем потихоньку потихоньку пошла вниз, а су-ток через трое я уже был как огурчик. Что со мной было, мне не объяснили; скорее всего это были последствия той самой «сталинской» выгрузки.

Общая палата, куда меня перевели, была огромной, в ней размещалось может сто, а может двести раненых. Это был зал заседаний Днепропетровс-кого облисполкома, и все многоэтажное здание было превращено в огром-нейший госпиталь.

Меня перенесли вечером, а в первое же утро произошел интересный эпизод.

Утро, почти все раненые уже проснулись, я тоже. В зал вкатывается боль-шая железная тележка, на ней два молочных бидона, из которых идет пар. Разда-ют утренний кофе. И руководят этой процедурой две молодых девушки, и как будто по правилам романтической завязки: одна блондинка, другая — брюнет-ка; обе хорошенькие. Брюнетка наливает кофе в жестяные кружки и катит те-лежку, блондинка разносит их по тумбочкам, забирает использованные.

Прислушиваюсь и обнаруживаю мелкое хулиганство. Если раненый про-сит налить ему кофе второй раз, а это происходит довольно часто, эта самая блондинка говорит ему по-русски: «Ну куда тебе столько? Уссышься ведь». Но наливает еще. Немцы улыбаются, считают, что девушка мило шутит. Ви-димо в этом зале никто по-русски не понимает.

Доходит очередь до меня. Выпиваю я свою кружку, моя милая блонди-ночка этак ласково спрашивает: «Нох?» Я киваю головой, а она кричит во весь голос (извините, дорогие читатели): «Люда, смотри, вот совсем сопляк, видно, только что от мамкиной

сиськи. Ведь, точно уссытятся!»

А я тоже ласково, своим шепелявым голосом отвечаю: «А ты чего-ни-будь поумнее не могла придумать?»

Что тут произошло? Она раскрыла рот, быстро-быстро захлопала ресницами, уронила на пол кружку, к счастью пустую, и дрожащим голосом произнесла: «Ты что, русский?» Подошла и Люда, но поговорить нам не дали возмущенные крики раненых, ожидавших свой кофе. Так что обе они подошли ко мне снова уже после того, как закончили свои дела и увезли из зала телегу.

Говорить много было мне еще трудно, но я рассказал, что я пленный, попал раненым на далеком отсюда Северном Кавказе. Они удивились, что я, пленный, находился в немецком госпитале и сообщили, что вообще в госпитале русские есть, но в обслуживаемом ими зале я был первым.

Вот и сейчас я думаю, не попали ли эти молоденькие девушки под топор Якова Айзенштата и его приятелей-трибунальчиков. Ну, как же, поили горячим кофе извергов-фашистов, повышая тем самым их боеспособность.

Потекли больничные дни-близнецы. Конечно, они не были абсолютно одинаковыми, но ведь и близнецы это не всегда точные копии.

Состояние мое тем временем понемножку улучшалось. Я уже мог на спине не только полежать немного, но и спать целую ночь; лежать же на левом боку все еще не получалось, не позволяла все та же боль в груди. Начал и ходить не только по необходимости, но и просто для удовольствия, хотя мало-мальски продолжительные прогулки мне еще не удавались. Хуже было дело с питанием; хотя рот у меня на несколько миллиметров открывался, кормили меня по-прежнему кашами и всякими протертыми блюдами, большей частью очень сладкими. Это понятно, сахар — очень калорийный продукт и быстро усваивается. Я помню, как однажды медсестра минут двадцать уго-варивала меня съесть ломтик хлеба толщиной с бумажный лист и помазаный маслом. Я мог пропихнуть его между зубами, но съесть никак не мог, потому что его надо было жевать, а те лицевые мышцы, которые должны были

обеспечивать жевательный процесс, трудиться категорически отказывались: они мне просто не подчинялись. Мне самому все это сладкое до того осточертело, что я просто с завистью вдыхал запах колбасы, которую в завтрак уплетали мои соседи.

Вообще питание в госпитале, если судить по нашим красноармейским меркам, было очень хорошее; давали и конфеты, и шоколад, и прочие вкусно-сти. То, что приносили в этом роде мне, санитары складывали в тот же мой бумажный мешок, который постоянно увеличивался в объеме. Особенно способствовали его росту продовольственные подарки, которые выдавались каждому раненому раз в неделю. Подарок представлял собой картонную коробку, в которой были конфеты, печенье, шоколад, вафли, сигареты и прочее. На коробках типографская надпись по-немецки «Привет с Родины», а водка — киевская, конфеты — одесские, печенье — днепропетровское и прочее в таком же духе. Только прессованные пластинки из сухофруктов были подлинно немецкими.

Все это добро тоже шло в мешок, который уже не помещался в тумбочке и лежал под койкой. Мой сосед-солдат, обнаружив, что я не употребляю спиртное, предложил мне обоюдовыгодный обмен, и я не возражал. С тех пор, как только нам раздавали «Приветы с Родины», у нас с ним происходил такой диалог: он изображает вопросительный кивок, я в ответ даю утвердительный, после чего он распаковывает оба «Привета», обе бутылки забирает себе, а все остальное высыпает в мой мешок. И оба довольны.

Развлечений в госпитале не было никаких. Я начал помаленьку читать немецкие газеты и военные сводки, а также статьи на военные и политические темы и понимал почти полностью. А с разговорной речью было по-прежнему плохо по причине особенностей произношения. Я, например, слушал по радио речь Геббельса по случаю гибели 6-й армии в Сталинграде, но не понял ни единого слова. Во-первых, он говорил очень быстро, а во-вторых — в какой-то истерической манере, с криком и даже, по моему с завыванием. Сам я ни с кем по-немецки не говорил, хотя уже считал, что словарный запас для простого бытового разговора у меня уже имелся еще со школы.

А так развлекались кто как мог. Кто читал (таких было мало), кто играл в карты, шашки, шахматы. Я тоже включился в шахматную игру. Начиналось это так. Каждое утро после завтрака крепкий высокий немец, унтер-офицер зенитчик (это я узнал позже, когда начал различать немецкие знаки различия) с шахматной доской под мышкой расхаживал по палате, разыскивая себе партнеров среди лежащих раненых. Я это заметил, но долго не решался предложить ему свое участие, а только стоял (когда уже мог) рядом и наблюдал за игрой. Я определил, что играл он слабо по моим понятиям, но уж энтузиаст

был невероятный.

Как-то раз, не найдя себе партнера, он снизошел и до меня. Мы сыграли, и с тех пор стали постоянными партнерами, а скоро это стало прямо-таки неким шоу и развлечением для всех присутствующих. Хотя он, как я уже оказал, играл слабо, но долго обдумывал ходы, рассуждал вслух, повторяя: «Их дагин, эр дагин. Их дагин, эр дагин» (то есть: я туда, он туда), расставлял все свои пальцы на доске, и иногда пальцев ему даже не доставало, все смея-лись. Такая манера очень веселила присутствующих, все наперебой предла-гали ему свои пальцы и прочее в таком же духе. Это повторялось каждый день, но выиграть у меня он так и не смог.

Этот унтер-офицер ходил по этажам, искал шахматистов и приводил к нам, но сильных игроков так и не попадалось. Это меня порядком удивляло, ведь первые два чемпиона мира по шахматам, Стейниц и Ласкер, были немцами.

Он даже пытался организовать шахматный турнир всего нашего госпита-ля, всех его этажей; турнир начался, но закончен не был по обыкновенной причине: все время убывают, прибывают, часто это прибытие-убытие нео-жиданное и непредсказуемое. Так я и остался непобежденным чемпионом.

Начались ночные бомбардировки Днепропетровска советской авиаци-ей. В сквере против здания нашего госпиталя была установлена батарея тяже-лых зенитных орудий, при налете они так грохотали, что наше огромное зда-ние вздрагивало. Когда объявлялась воздушная тревога, все ходячие спуска-лись вниз, в подвал, а лежащие оставались на койках. Хотя я уже более или менее ходил, путешествие по лестницам мне еще было не под силу, и я оста-вался на своем этаже, наблюдая картину налета из окна.

Однажды зенитным огнем был сбит самолет, и раненый летчик был помещен в наш госпиталь. Я ходил к нему, он страшно обрадовался, узнав, что я тоже пленный. У него были перебиты обе ноги. Дальнейшей его судь-бы я не знаю.

Ничего унижающего или оскорбительного по отношению ко мне со сто-роны немцев я не замечал, хотя уже знал из советской печати, что я славянин и «унтерменш». Еще во время начальной стадии моих шахматных подвигов, во время одной из партий, я, и сам

того не замечая, по-мальчишечьи шмыгал носом, и услышал, как один немец сказал другому: «У него нет носового платка». Когда я после игры пошел к своей койке отлежаться, я увидел на моей тумбочке два аккуратно свернутых носовых платочка. Потом у меня этих платочков было вполне достаточно, так как кроме продуктовых подарков раненым выдавали и вещевые: игральные карты, расчески, конверты, платочки, всякие бритвенные принадлежности, которые мне еще были ни к чему, и все такое прочее. Выдавали один подарок на двоих, и я дележку этого «Привета с Родины» полностью передоверил тому же соседу, хотя шнапса в этом подарке не было.

Состояние мое продолжало улучшаться, и меня перевели в другую палату, небольшую, коек на десять, где были только русские. Здесь в шахматы никто не играл, зато отчаянно сражались в карты. Некоторые из жителей этой палаты регулярно получали жалованье, я же, конечно, ничего не получал, зато у меня была валюта — шнапс, и я активно включился в игорный процесс. Картежником я всегда, с детства, был хорошим, и у меня уже завелись денежки в увиденных мной впервые «карбованцах». Вообще, на Украине находились в обращении три вида денег: карбованцы, оккупационные марки и рейхсмарки.

Только здесь, в этой палате, впервые возник вопрос, что же со мной будет дальше. Причем первым об этом заговорил не я, а мои более старшие и более опытные по жизни соседи. Все они не очень откровенничали о своей жизни, зато горячо обсуждали мою, о которой я ни капельки ничего не скрывал. Большинство сошлось на том, что из немецкого госпиталя в лагерь военнопленных меня не отправят, а скорее всего просто отправят в гражданскую жизнь. А вот это уже меня серьезно беспокоило: я из интеллигентов, закончил десять классов с аттестатом отличника, то есть по тем временам человек очень грамотный, но никакой специальности, никакого ремесла у меня не было. Писать и считать я мог здорово, а вот сделать что-либо руками не умел, да и до нормального физического состояния, пригодного для работы, мне еще было далеко.

В первых числах марта 1943 года в госпитале началась большая суматоха: советские войска уже в который раз начали наступление на Харьков, и уже в который раз неудачное. Эвакуацию всего огромного госпиталя не производили, но энергично разгружали: тяжело раненных эшелонами отправляли на запад, многих, не вполне вылеченных (вроде меня) выписывали. К этому времени я уже был почти человеком: повязку с меня сняли, хотя шрамы еще не зарубцевались полностью и были покрыты гнойными корочками, разговаривал я нормально, а вот с едой было плохо: рот у меня уже открывался, и я мог положить туда любую пищу, но жевать по-человечески еще не мог. Пробовал размоченный в горячем кофе хлебный мякиш, но больше трех-четырех жевательных движений исполнить был не в состоянии, наступала просто

не-преодолимая усталость, вроде того как устают руки после непрерывной су-точной тяжкой физической работы.

Нас отправили в каптерку, расположенную в подвальной части здания, для обмундирования. Приоделся и я в полную вермахтовскую форму, надел пилотку с козырьком (правильно назвать ее «кепи», но это слово непривычно для русского языка) и застегнул ремень с «Готт мит унс» (С нами Бог). Прихватил и котелок, очень он мне вскоре пригодился.

Предстояла дорога и какая-то большая перемена в моей жизни.

8. ЛАГЕРЬ

Из нас, русских, скомплектовали группу в тринадцать человек и назначили старшего, хмурого мужика. Я сразу решил, что он полицай, хотя никаких аргументов для такого решения у меня не было. Скорее всего, мне не понравилась его угрюмая рожа.

Этот старшой получил направление, по-немецки «маршбефель», на Кре-менчуг, и мы двинулись в путь, железнодорожным транспортом. Ехали мы, не торопясь; куда нам была спешить? На станциях болталось много румынских солдат: после разгрома румынских армий под Сталинградом их никак, видимо, не могли как-то организовать. На одной станции вижу такую картину: возле стоящего товарного состава кучка румынских солдат, собравшись в кружок, угощаются; один солдат вешает свою винтовку на вагон, все весело хохочут, наблюдая за уезжающим оружием.

Едем без всяких приключений, у меня только одно огорчение: эта про-жорливая орда в один день уничтожила весь мой бумажный мешок, а ведь многое из него я так и не попробовал. На целых два дня мы задержались на станции города Пятихатки, ходили по базару, что-то покупали.

Наблюдая все окружающее, я немного удивляюсь: воспитанный на сообщениях советской печати, я ожидал увидеть всяческие зверства и даже горы изувеченных трупов на каждой улице любого города. А я вижу обыкновенный порядок, обыкновенных жителей, живущих какой-то своей жизнью: магазины, базары, станции железной дороги, то есть самая обычная жизнь: не видно никакой борьбы, никакого сопротивления, никаких репрессий. Немного действуют на нервы полицейские, те самые, которых сейчас часто показывают в кинофильмах, в черных мундирах с серыми обшлагами и клапанами карманов. Не знаю, как они там зверствовали с другими, но нас они не задевали: мы ведь в униформе вермахта.

Приезжаем в Кременчуг без потерь, заявляемся в военную комендатуру. И тут нас сразу разделили на три категории. Первая — кто имел какие-нибудь документы о прохождении службы, того сразу же направляли в его часть. Это общий порядок в немецкой армии: после излечения от ранения, воен-нослужащий обязательно возвращается в свою часть. Вторая категория — если человек заявляет, что где-то служил, но документов не имел, его все равно направляли в названную им часть. Третья категория — люди, заявлявшие, что они военнопленные. Среди нас таких оказалось шестеро, в том числе я. Нас, эту шестерку, посадили на машину и повезли в лагерь. Подвезли к воротам, выгрузили, отобрали ремни, сняли погоны и дали бритвенные лезвия, чтобы спороть кокарды с пилоток. Отбирать что-либо из обмундирования не стали, хотя одежды мы были очень хорошо.

И отвели в один из барачков. Бараки представляли собой длинные низкие кирпичные здания с бетонными полами, на которых была постелена солома, вернее то, что от нее осталось — грязная вонючая труха, на которой спали и вообще жили военнопленные. Говорили, что это были бывшие артиллерийские склады Красной Армии.

Когда мы, одетые в мундиры вермахта, вошли в барак, нас встретили насто-роженно, но после наших объяснений, что мы обыкновенные пленные, но прошедшие лечение в немецком госпитале, отношение к нам стало нормаль-ным. Даже наоборот. Мы, были «свежие» пленные, и всем было интересно знать, что и как там происходит, за фронтом. Многие из тех, что находились в бараке, попали в плен еще в начале войны, и я вдоволь наслушался рассказов о том, что они претерпели от зверского отношения немцев в то

проклятое время. Теперь же положение пленных было совсем другое. От райского оно, конечно, отличалось сильно, но в сравнение с теми временами никак не шло.

Я нашел себе место на этой бывшей соломе, и моя жизнь советского военнопленного началась. Разнообразием особым она не отличалась: мож-но было только лежать на полу или прогуливаться возле барака, а каждый барак был отделен еще колючей проволокой от соседних бараков и от цент-рального «проспекта», так его называли. Не знаю, что это был за лагерь, но на работу каждый день не гоняли, что для меня, например, хотя и было стран-ным, но в какой-то степени и радовало, так как я знал, что для нормальной работы я еще не был пригоден.

Кормили два раза в день вареной пшеницей. Советские власти, отсту-пая, облили элеватор с пшеницей керосином и подожгли. Сам ли элеватор погас или его потушили, мне неизвестно, но именно этой горелой и пропах-шей керосином пшеницей нас и кормили. После госпитальных вкусовостей я никак не мог взять в рот эту гадость, и три дня ничего не ел (конечно, желающие из соседей сразу нашлись), но потом голод убедительно доказал мне, что он не тетка, и я начал есть эту пшеницу, сначала с отвращением, а потомки с удовольствием.

Кормление происходило так: к бараку через проволочные ворота въез-жала телега с деревянными бочками, староста блока пытался построить плен-ных в очередь, что никогда не удавалось, ибо никто не хотел быть последним. Вот тут и наступало время действовать лагерным полицаям, которые с помо-щью палок кое-как все-таки раздавали привезенную пищу. Много написано о жестокостях немцев в лагерях военнопленных. Я этого не видел, потому что в этой нашей кременчугской жизни мы немцев вообще не видели; всю внутри-лагерную службу исполняли полицейские, хорошо одетые, с белыми повязка-ми на рукавах. Вот они были действительно безмерно жестокими, бесчеловеч-но жестокими. Я человек не мстительный, но если бы меня спросили, кто в истории второй мировой войны заслуживает самого страшного наказания, я бы без колебаний ответил: внутрилагерные полицейские.

Несколько раз я видел через проволоку, как трое или четверо полицаяев ведут кого-то, судя по одежде, пленного, и ведут уж очень грубо: толкают, бьют, пинают. Я поинтересовался, кого это и за что его так; мне ответили, что это полицайи выискивают евреев, за то и бьют.

Почти каждый день из нашего барака освобождали украинцев, то есть не по национальности, а по месту жительства. Процедура освобождения была максимально простой. Приезжал какой-либо родственник: жена, мать, сест-ра, а с ней, если из сельской местности, то староста, а если из городской, то начальник полиции. Если, например, жена заявляла, что вот этот оборванный гражданин есть мой муж Мыкола Голопупенко, а староста это подтверждал, то его освобождали и выдавали нужную бумагу. Случалось, этой простотой пользовались и неукраинцы, предварительно договорившись и найдя подходящую бабу — солдатку.

Я уже писал, что в этом лагере на постоянную работу не водили. Но иногда это случалось. Наш блоковой староста заходит в барак, командует: «От сих до сих, выходи!», и мы выходим. Нас выводят из лагеря, ведут (здесь уже под охраной немецких солдат) в большой двор, а задачей нашей является заготовка дров и доставка их в квартиры немецких офицеров.

Сразу же в нашей команде обнаруживается руководитель, по всему, из командиров Красной Армии, распределяет нас по группам: кому пилить, кому колоть, кому возить по домам и разносить по квартирам. Меня назначают в развозчики и, понимая мою слабосильность, поручают просто держаться за подводу, которую мы с готовыми дровами без всяких лошадей тянем и толкаем по улице. Я сразу подумал, что разделение по работам не очень справедливое: самая тяжелая часть работы — пилить и колоть, а вся добыча достанется тем, кто разносит по квартирам, те есть тем, труд которых куда легче. Но мне, новичку, сразу разъяснили, что все полученное собирается вместе и делится потом по-ровну, а за какой-то утаенный окурочок могут убить, и такие случаи были. Что ж, порядок жестокий, но ничего не скажешь, справедливый.

Итак, мы поехали, вернее, повезли. Поселок из двухэтажных кирпичных домов, почти во всех квартируют немецкие офицеры, а прислуга — везде русские женщины. Вот они и выносят нам и куски хлеба, и вареную картошку, и разное вареное, и тщательно собираемые заранее окурки сигарет. Все вареное без разбора содержимого, сливается в большие железные посуды, для последующей дележки.

Мы заканчиваем работу, возвращаемся в тот двор, объединяем всю добычу от двух подвод, и начинается дележка. Немцы-солдаты нас не торопят. Самое трудное — разделить табак из окурков и горсточки махорки, но и с этой задачей наш командир справляется. Мне за неучастие в дележке табака выдается компенсация — две вареные картофелины. Все довольны работой, но такое, как мне сказали, бывает редко.

Дни идут, ничего не происходит, только все чаще идут разговоры о скорой отправке в Германию на военный завод. Слесаря, токари, сварщики и прочие металлические спецы этому радуются, хлеборобы и конюхи старательно расспрашивают спецов об особенностях их профессий, чтобы при случае назваться каким-либо спецом. Все ожидают.

Я не дождался. Однажды наш блоковой вошел в барак с приказом: «Уроженцы Дона, Кубани и Терека, с вещами на построение!» Сразу по бараку шорох: «Выпускают». Ко мне подскочил один такой плюгавенький, в изорванной гимнастерке.

— Ты из какого села?

— Я не из села.

— А откуда?

— Из станицы.

— А что такое станица? Станция, что ли?

Я начал объяснять ему, что такое станица, но он не дослушал, махнул рукой и отошел.

Нас, с Дона, Кубани и Терека, в бараке оказалось трое, выходим, стали шеренгой. Я уже говорил, что каждый барак отделялся от другого проволокой, но если стоять возле ворот, то видно, что делается возле соседнего барака. Мы и смотрим. Там стоят четверо таких, как мы, с ними разговаривает офицер, видимо, с переводчиком. Потом один из четверых выходит вперед, полицаи выводят оставшихся троих за ворота, а того, что выходил, трое полицеев начинают избивать кулаками и палками, а затем,

поваливши на землю -бьют ногами. Что-то на освобождение не похоже.

Офицер с переводчиком заходят к нам, начинается разговор. Переводчик, явно русский, переводит. Нам говорят, что мы, казаки, всю свою историю боролись за свободу, теперь нам будет предоставлена такая возможность. Кто не хочет бороться за свободу, три шага вперед!

Мы все не очень поняли, за какую свободу мы должны бороться и каким образом, но то, что ждет человека, вышедшего из строя, мы хорошо видим, так как избивание того, вышедшего, продолжается. Поэтому мы стоим и молчим, офицер удовлетворенно кивает, отдает распоряжение полицаям и выходит. Нас отводят к воротам лагеря, где уже собрана порядочная толпа «борцов» за свободу и постоянно подводят еще. Переговариваемся, никто ничего не понимает, предположений всяких много.

Нас собрали человек шестьдесят, погрузили в автомашины. Переезжаем Днепр по Деревянному, построенному немцами мосту имени генерал-фельдмаршала фон Рундштедта; на другом берегу городок Крюков, хотя это, возможно, просто часть Кременчуга. Выгружаемся на самом конце городка, строимся, и нам объявляют, что мы включаемся в состав казачьего эскадрона. В этом эскадроне уже есть тоже человек шестьдесят. Старослужащие они или тоже только что объявленные «борцы за свободу», мы не знаем.

Размещаемся на частных квартирах. На следующий день всем выдают обмундирование, мне не дают ничего — я и так одет прилично. Выдают всем ремни и погоны, приказывают заменить петлицы, вместо немецких пришиваем какие-то красные с перекрещенными белыми стрелами. Казачий эскадрон готов, командир эскадрона немец, заместитель — казак, называем «господин сотник».

Начинаются занятия, распорядок дня — чисто военный: подъем в шесть часов, до завтрака гимнастика и пробежка километра три-четыре. С гимнастикой у меня все в порядке, а с пробежкой — никак, я еле-еле бегу, всегда последний.

Немец-фельдфебель начал мне выговаривать, но я сумел ему объяснить, что я был тяжело ранен, только из госпиталя, еще мне далеко до полного здоровья, особенно в смысле бега, и он разрешил мне не бегать по всему маршруту, а просто идти кратчайшим путем к его концу.

Мне было легко в смысле понимания строевых команд. В десятом классе, уже во время войны, преподавание немецкого языка у нас проводилось толь-ко по военной тематике: строевые команды, допрос пленного, ознакомление с немецкими военными документами и прочее в таком же духе. И фактичес-кие немецкие команды почти полностью совпадали с теми, что мы учили.

Примерно через неделю нам выдали шашки, обыкновенные советские шашки со звездочкой на латунном эфесе. Это сразу повысило нашу боеспо-собность. Зачем нам боеспособность? Дело в том, что с первых же дней пребывания нашего эскадрона в Крюкове у нас сложились очень недруже-ственные отношения с местной полицией, той самой, которая в черных ши-нелях с серыми воротниками. Не знаю, с чего это началось, но постоянно проявлялось не только в ругани, но и частенько доходило до рукоприклад-ства. Хотя полицейские постоянно ходили с пистолетами, а у нас огнестрель-ного оружия не было, но стрелять, конечно, они в нас боялись: мы все-таки в форме вермахта, хотя и с непонятными петлицами. А уж, вооруженные шаш-ками, мы вообще были непобедимыми, хотя я знаю, применялись шашки только ударами плашмя, до рубки дело не доходило.

По части драк я, конечно, особенно не отличался по причине своей сла-босильности, хотя пару раз стукнуть шашкой плашмя мне пришлось. Зато в отношении языка я безусловно был одним из первых, если не самый первый. Герберт Уэллс в «Человеке-невидимке» говорит, что по ругани сразу можно отличить человека образованного. Вот и я был таким образованным в смыс-ле умения подбирать наиболее обидные и оскорбительные слова.

Наиболее часто стычки, а порой и драки, происходили на базаре, где поли-цейские иногда устраивали облавы на бабок-самогонщиц. Не знаю, было это по тогдашнему закону или просто грабежом, но бабки быстро сообразили, что могут иметь защиту в лице казаков, и как только появлялись полицейские, они тотчас снаряжали мальчишку за казаками. И если те оказывались поблизости, то у бабок появлялась возможность спасти свой самогон, а у казаков — возмож-ность получить искреннюю благодарность в виде стаканчика-другого. И было всем хорошо. Если же казакам приходилось туго (допустим, с большим чис-ленным перевесом у полицейских), тогда раздавался громкий клич: «Казаков бьют!», и тогда уже, где бы ни был казак, он обязан был бежать в опасное место.

Кончилось это веселое времяпрепровождение плохо. В Крюкове был кинотеатр, в котором каждый вечер крутили немецкие фильмы, без дублирования, но все равно зал всегда был полным. Я тоже туда частенько ходил, постепенно привыкая к звукам немецкой речи, и уже понимал где-то около четвертой части говоренных слов, что позволяло понимать смысл происходящего на экране и пояснять другим казакам.

Вот здесь все и произошло. Мы вдвоем из одной квартиры сидим, смотрим фильм. Места наши недалеко от экрана. Прошло уже больше половины фильма, как вдруг где-то сзади послышалась шумная возня, затем крики и ругань, затем один за другим два выстрела. Фильм прекратился, стало темно, только изредка вспыхивают лучи карманных фонариков. Слышим: «Казаков бьют!» Вскакиваем, пытаемся пробиться туда, откуда крик. Толпа мечется, крики, стоны, женский визг. Я обнажил шашку, и как только в свете фонарика покажется черный мундир или черная пилотка, я по ней шашкой, плашмя, конечно. Потихоньку, так и держась друг за друга, пробиваемся к дверям, но слышим тархтенье мотоциклов и чей-то истошный крик: «Жандармерия!» Меняем направление, теперь уже стараемся пробиться к окнам, которые выходят не на улицу, а во двор. Добираемся до окон, уже выбитых вместе с рамами, выбираемся во двор и всякими темными переулками добираемся до своей квартиры. Никто нас не видел.

На следующий день узнаем, что в кинотеатре убит один полицейский, причем убит из пистолета. Напоминаю, что у казаков пистолетов не было. Что и как произошло, так мы и не знаем.

А еще через день во время построения зачитывают пятнадцать фамилий, в том числе мою. Остальная часть эскадрона отправляется на занятия, а нас разоружают и раздевают. У меня отбирают шашку и ремень, снимают погоны, заставляют отпороть кокарду и петлицы, но из обмундирования ничего не отбирают. У тех же, у которых было новое обмундирование, его отбирают. Выдают взамен, правда, уже не ту красноармейскую рвань, которая была у них раньше, а немецкое, но очень старое и изношенное.

Никто нас не допрашивал, никто ничего не спрашивал. Однако, когда я уже в лагере опросил нескольких пострадавших, оказалось, что все они были тогда в кинотеатре.

Затем на машину и через фельдмаршала фон Рунштедта назад в Кремен-чуг, в тот же родимый лагерь. Всех привезенных, а они все были из свежела-герных казаков,

разместили в первый от ворот барак, который, когда мы осматрелись, оказался в некотором роде привилегированным, хотя и огорожен, как и все, проволокой. Он был разделен на две части, которые имели собственные входы: в правой размещались пленные командиры (или уже офицеры) Красной Армии, а в левой — мы, непонятный народ, человек 60. В бараке были двухэтажные железные койки, на них матрацы, набитые соломой, вернее, бывшей соломой. Все-таки не бетонный пол. Кормили так же, два раза вареной пшеницей, но уже почти не горелой и совсем без керосина. Значит, кто-то эту проклятую пшеницу все же предварительно сортировал.

И обращение с нами лагерных полицаев было совсем другим, никаких жестокостей, никаких мордобоев... Контингент, стало быть, другой.

Ход времени был абсолютно монотонный, никаких событий. Только в общении с офицерами хоть что-то было интересное, так как к ним часто небольшими группами прибывали свежие пленные, которые хоть что-то могли поведать новое и интересное.

—Я подружился с лежавшим на соседней койке парнем. Звали его Ива-ном, фамилию не называю, был он родом из Винницы, 1921 года рождения, был в кадровой армии, попал в плен в первые дни войны, и претерпел столько ужасов, что и рассказать невозможно. Почему он до сих пор не выпущен из лагеря как сырий украинец, он мне не рассказывал, хотя это было мне очень интересно. Был он парнем битым-перебитым, тертым-перетертым, но не-разговорчивым. Расспрашивать его напрямую я стеснялся, а мои тонкие намеки он не понимал, то ли по своей хохлацкой тупости, то ли по той же хохлацкой хитрости. И дружба наша была для меня непонятной: для меня, пацана, было понятно желание иметь такого бывалого, серьезного товарища, а вот зачем ему я, этого я уразуметь не мог. Но мы крепко подружились.

Изменение в нашей судьбе все-таки произошло.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ТОДТ

Вбегает в барак наш староста, командует: «Всем во двор, строиться! С вещами!»
Выходим, строимся.

Заходят к нам через ворота трое, в какой-то доселе невиданной мной табачного цвета форме, на рукавах повязка со свастикой. По строю шепот, никто не знает, кто это такие, один говорит — железнодорожники, другой -гестаповцы, их эти повязки смущают.

Двое из вошедших — явно офицеры, один — из рядовых. Старший из них, высокий офицер, идет вдоль строя и одним пальцем показывает, кому выходить. Все это молча. Я стою рядом с Иваном. Доходит этот длинный до нас, Ивана пальцем тычет, а меня нет.

И я заговариваю по-немецки.

— Возьмите и меня, это мой друг.

— Ты говоришь по-немецки? — снисходит он да разговора со мной.

— Немного.

Он счел разговор со мной достаточным и пальцем определил мою судь-бу: я вышел и стал рядом с Иваном.

Нас отобрали двадцать человек, на автомашине подвезли на железнодоро-рожную станцию, погрузили в товарный вагон и закрыли. Через пару часов состав тронулся, мы

ехали всю ночь и приехали в город Лубны, где нас пере-правили снова в лагерь военнопленных, кучку фанерных бараков. Этот ла-герь был обыкновенным рабочим лагерем, в нем было человек триста, каж-дый день их всех выводили куда-то на работу. Кормили здесь тоже два раза в день какой-то баландой из капусты, картошки и брюквы с небольшим коли-чеством крупы, кажется, перловой. Давали и хлеб, граммов по 300. Из чего был этот хлеб, мы так и не поняли: то ли из отрубей, то ли из опилок.

Мы пробыли в этом лагере двое суток, всю нашу одежду прожарили, хотя, по-моему, ни у кого из нас вшей не замечалось.

И только после всего этого, нас повезли в город, на место постоянного жительства. Что, чего, куда, зачем — мы все это узнавали постепенно, но я для понятности расскажу все сразу. Мы попали в Организацию ТОДТ, это учреждение наподобие советского Министерства строительства. С нача-лом войны, а может быть и раньше, его сделали военизированным, то есть вооружили древними винтовками, присвоили чины, которые все оканчива-лись на «фюрер» и ввели воинскую дисциплину. Конечно, все эти ОТ-маны были или старичками или инвалидами, непригодными для военной службы и, я думаю, что из этих своих винтовок эпохи франко-прусской войны ни один из них так ни разу и не выстрелил.

Строила эта организация много (например, знаменитые автобаны стро-ила именно она), а в условиях войны, конечно, больше всего сил и средств направлялось на строительство укреплений и всяких других сооруже-ний во-енного назначения.

Конечно, своей рабочей силой в необходимых количествах ОТ не распо-лагала и пользовалась трудом военнопленных, заключенных различных ти-пов лагерей (у немцев было много различных лагерей) и мобилизованного, местного населения.

Нас привезли на базу автомобильной роты, которая обслуживала объек-ты ОТ. База представляла огромный двор в форме зеркальной буквы «Г», окруженный кирпичным забором, со стороны улицы высотой метра в пол-тора, а со стороны прилегающих дворов повыше, метра в два.

Торец длинной части буквы «Г», от забора до забора занимала ремонт-ная мастерская,

где работали вольные местные жители, только начальником был немец, ОТ-мастер. Был такой чин.

Нас поместили в здании, находящемся в торце короткой части буквы «Г»; здание — кирпичное, с зарешеченными окнами, на полу — солома, на этот раз, не бывшая. Как стало сразу же известно, мы должны были обеспечивать погрузо-разгрузочные работы этой автороты. Режим жизни нашей был определен следующим образом: мы должны быть готовы к работе в любое время суток по необходимости; в дневное время, если работы нет, мы можем свободно ходить по двору, но не пересекая условной линии, которая является границей короткой части буквы «Г» (это нам объясняет переводчица, молодая симпатичная украинка), за пересечение линии днем мы будем наказаны, хотя не объяснили как. А в ночное время нас запирают в нашем помещении. Если же кому ночью понадобится в уборную, он должен звать часового, который в это время находится во дворе.

Все это страшно не понравилось всем: и нам, и этим пожилым ОТ-ма-нам. Нам, потому что, если кому одному приспичит ночью, то он должен орать во все горло и стучать в дверь, что остальным девятнадцати понравиться никак не могло. ОТ-манам тоже стало несладко; пока нас не было, находящийся на посту часовой, обняв свою древнюю винтовку, спокойно спал в кабине грузовика, вставая только по необходимости открывать или закрывать ворота приезжающим или уезжающим автомобилям. А теперь слушать, не орет ли кто благим матом, а потом вылезать из кабины, идти отпираться дверь, выпускать страждущего, ожидать, пока тот не управится со своим делом, запирает, и только тогда идти досматривать свой сладкий сон.

Это не могло продолжаться долго, и примерно через неделю, возвратившись с железнодорожной станции, мы увидели, что высокая часть забора украшена сверху спиралью из колючей проволоки, и нам было объявлено, что на ночь нас запирают больше не будут, нам позволено самостоятельно пользоваться уборной, но пересекать ночью ту самую условную границу строжайше запрещается — стрелять часовой будет без предупреждения (если, конечно, проснется, а это было не всегда, в чем позже многократно убеждались).

Нам назначили старшего из нас же. Его звали Николаем, был он высок, голу-боглаз и белобрыс, по физиономии типичный тевтон. Видимо, по этим признакам его и сделали старшим. Нас он не тиранил, главной его обязанностью было соблюдение очередности при назначении на работы, так как работы эти были разнообразными, неравномерными и неодинаковыми по числу рабочих.

С питанием дело обстояло так: дней десять нам возили уже упоминае-мую мной пищу из лагеря, а потом стали готовить тут же и те же поварахи, что и для немцев. Хотя немцами их было назвать трудно, так как большинство из персонала роты было голландцами, бельгийцами, чехами и прочими жи-телями Европы. Даже командиром роты был голландец.

Впрочем, голодными мы здесь не были. Сама специфика работы ав-тотранспорта требует постоянного убытия-прибытия, часто автомобили уходили в дальние рейсы или водители отсутствовали по другим причи-нам. Все, что оставалось из приготовленной пищи, доставалось нам. Хле-ба тоже перепало.

Мы понемногу обустривались. Среди нас были и подобные мне маль-чишки, но были и взрослые люди, имеющие специальность и способные что-то изготовить. Так, у нас обнаружилось два автослесаря, которые часто в свободное время ходили потрудиться в мастерскую, надеясь, что их там мо-гут оставить на постоянную работу. Это не вышло: у нас был разный статус, те были свободными людьми, мы — военнопленными.

По нашему благоустройству мы немало преуспели. Строительных мате-риалов у нас было завались, умельцы наши сделали нары из хороших строган-ных досок, затем стол и скамейки. Рабочие из мастерской изготовили нам из консервных банок различные бачки, кружки; все это как-то улучшало наш быт.

Труднее было многим устраиваться с одеждой, но и тут были кое-какие возможности. Когда машины возвращались из дальних рейсов, особенно с фронта, иногда можно было обнаружить в кузовах полезные для нас вещи: то старую шинель, то какие-нибудь тряпки, которые можно было привести в лучшее состояние и использовать с пользой, то рваные ботинки, которые поддавались починке и т.д. Из одежды нам ничего не выдавали, и выкручи-вался кто как мог. Однажды у нас осмотрели обувь и тем, у кого она пришла в негодность, выдали башмаки из искусственной кожи на деревянной подо-шве. При хождении по асфальту одновременно нескольких людей гремели эти башмаки как пулеметные очереди.

Не могу сказать, что нас сильно изнуряли работой. Большею частью рабо-та заключалась в разгрузке строительных материалов и оборудования с

желез-нодорожных вагонов и погрузке их на автомашины. Это могло быть и днем, и ночью. На станции мы понесли и первую потерю. С платформы разгружали толстые бревна, они никак не хотели катиться, один из нас взобрался на плат-форму и ломом пытался сдвинуть их с места. Бревна рухнули сразу, он попал между ними и был просто раздавлен. Нас осталось девятнадцать.

Два раза, работая на станции, мы видели, как отправляли молодежь в Германию. Первый раз ничего особенного не произошло. Конечно, объятия прощания, слезы, обещания писать. Поезд тронулся, все разошлись. Второй раз было по-другому. Вначале вроде бы ничего особенного не предполагалось. Все как в прошлый раз. Но когда вагоны закрыли и состав потихоньку тронулся, в одном из вагонов ребята запели знаменитое шевченковское: «Думы мои, думы мои, лихо мэни з вами». Что тут началось! Толпу прово-жающих как будто током ударило: крики, истерика, некоторые женщины па-дают на бетон перрона, другие бросаются на вагоны, хватают их руками, срываются, падают. И какой-то по всей станции звериный вой. Полицейские пытаются отталкивать рыдающих женщин, ничего не получается, тогда они пускают в ход приклады. Картина просто ужасающая.

Было лето. Наша база находилась на окраине города, кругом были частные дома, сады и огороды, от них доносились запахи, весьма и весьма нас соблазняющие. Родились планы. Выбраться из двора, заставленного многи-ми большими автомобилями и штабелями разных материалов, не обнару-жив себя спящему ОТ-ману, и перебраться через низкий забор, труда не составляло. Единственная опасность состояла в том, что мы могли понадо-биться для каких-либо ночных работ. Конечно, если бы оставался наш Нико-лай-тевтон, то опасности совсем бы не было, он бы просто вышел и послал нужное количество людей, и это никого бы не удивило. Но Николай нужен был для разработанного мной сценария.

Пришлось рискнуть. Хотя мы предполагали, что если и попадемся, осо-бенно строгого наказания не будет. Совсем недавно мы разгружали лес на станции, и охранявший или, вернее наблюдавший за нами ОТ-ман подозвал меня и показал на забор, за которым виднелась вся увешанная румяными плодами яблоня. Я выбрал еще одного парня помоложе, мы быстренько пе-ремахнули забор, набрали побольше яблок, возвратились и, выделив спра-ведливую долю немцу, вдоволь полакомились.

Приступили к действиям. Заметив днем при проезде подходящие огоро-ды, отправились мы вчетвером: три пирата и теvтон, которому собрали от всех нас наиболее приличное немецкое обмундирование и которому слеса-ри из мастерской изготовили из консервных

банок орла на цепи — опознавательный знак полевой жандармерии, самой устрашающей структуры немецкой военной власти. За старшего временно оставили Ивана, он тоже был и у нас, и у немцев в достаточном авторитете.

Пробрались через скопление автомобилей, перелезли через забор, нашли нужные огороды, набрали полные пазухи огурцов и благополучно вернулись. Трудились трое, а Николай был в засаде. Точно так же закончилась вторая операция, и отдельные оппозиционеры стали поговаривать, что Николая брать не нужно, чтобы зря не рисковать. Я возражал и оказался прав.

Третий поход имел целью добывание яблок. Начало было благополучным, мы набрали яблок с земли, но тут появилась хозяйка, и с ходу — в крик. Мы, конечно, могли просто уйти, помешать она нам не смогла бы, но была опасность, что где-нибудь близко окажется полицейский патруль, и будет большая суматоха, а нам большая беда.

Вот тут и очень вовремя появился Николай во всей своей тевтонской красе и с бляхой на груди. Он энергично взялся за нас и, сопровождая свои действия немецкими ругательствами (я его несколько дней тренировал по этой части), толчками и пинками выпроваживал нас из двора крикливой хозяйки.

— Пан офицер, — твердила она, — а яблоки?

— Я, я, matka! Я, я, — отвечал наш тевтон и буквально за несколько секунд вытолкнул нас за калитку. С яблоками, само собой.

Мы и на этот раз возвратились с добычей, но я долго думал об этой хозяйке. Чего она раскричалась? Ведь она отлично видела, что мы пленные, а на Украине к пленным женщины относились очень жалостливо. В немецком плену погибло миллион или два советских военнопленных, а спасению уцелевших во многом способствовало вот это истинно заботливое и человеческое отношение женщин. Огромное им спасибо!

Все-таки подобные походы были делом опасным, и мы их прекратили.

Жизнь в Лубнах была спокойной, никаких взрывов, никаких перестрелок и нападения, то есть никаких партизан и подпольщиков и никакой борьбы заму-ченного населения против ненавистных оккупантов и угнетателей. Немножко не так, как рисовала обстановку на Украине советская печать и радио.

И жизнь, и время, и фронт не стояли на месте. Уже в сентябре подразделениям ОТ в Лубнах настало время двигаться на запад. Под их имущество было предоставлено пятнадцать вагонов, частью закрытых, частью открытых платформ, мы мотались по городу, собирая это имущества и погружая его в вагоны. Для нас предназначался один вагон, который мы сами постарались обустроить как можно комфортнее: нары, стол, скамейку, посуда.

Исправные автомобили отправились своим ходом, а неисправные: три грузовых и две легковых мы погрузили на платформы.

Эшелон был огромный, наши вагоны — первые от паровоза. О составе эшелона мы узнали позже, а пока — нас заперли в нашем вагоне, и состав тронулся. Ночью проехали Киев, и я почти ничего не увидел, хотя Киев посмотреть хотелось. Проехали Коростень, направились на Житомир (это мы узнавали по названиям станций) и... остановились в чистом поле.

Вскоре выяснилось, что застряли мы надолго. Причину этой остановки мы доподлинно не знали, шли разговоры, что впереди мост то ли взорван, то ли разбит авиацией. Распорядок жизни нам был установлен такой: днем мы были вроде чем-то заняты, перекладывали-переставляли кое-что в вагонах, но скоро стало ясно, что все это только для вида, и немцам самим надоело этим заниматься. И стало так: днем мы болтались вдоль эшелона, немцы нас не охраняли, а возможно и поглядывали потихоньку, а на ночь запирали в вагоне и несли охрану вдоль эшелона.

Начались знакомства. Следом за нашими вагонами находились вагоны санитарной части, штук десять-двадцать, и среди персонала этой части оказался мой земляк-кубанец. Услышав наш с ним разговор, подошел Иван и сразу поинтересовался, есть ли среди разнообразного санитарного груза спирт. Тот ответил утвердительно, но сказал, что для того, чтобы открыть бочку, нужен специальный ключ, а такой есть

только у какого-то их начальника. Он, этот земляк, не знал, с кем разговаривает. У нас, в наших вагонах, был любой инструмент для любой работы в мире. Разговор сразу стал интересным, но закончился он ничем. Днем открыть бочку было невозможно, а ночью, когда земляк находился на посту, охраняя свои вагоны, мы были заперты. Хотя в конце нашего здесь стояния Иван все-таки передал земляку-кубанцу ключ, и тот набрал Ивану (и, конечно, что-то себе) пару фляжек спирта.

Подходили ехавшие в конце эшелона кавказцы: чеченцы, ингуши, дагестанцы, до зубов вооруженные, с ленточками наград на мундирах. Какой-то особый разведотряд. Узнав, что я с Кубани, то есть почти земляк, начали уговаривать меня перебраться к ним. Среди них не было ни одного русского, да и парашютист из меня никакой. Да и кто бы меня отпустил.

Через несколько дней возле эшелона образовался постоянный базар. Чем торговали? Как говорится, что охраняешь, то и имеешь. Эшелон был очень разнообразный, и торговать было чем. Нам, правда, торговать было нечем, так как не мы охраняли, а нас охраняли. Но это только на первый взгляд. Шансы у нас были.

Перед нашим эшелонам, метрах в трехстах от паровоза, находился хвост другого эшелона, из полувагонов, наполненных пшеницей. Посреди эшелона находилась платформа, а на ней танк и три танкиста. Видимо, этот танк направлялся для ремонта, а танкистам заодно была поручена и охрана груза, но эти три танкиста, три веселых друга, не очень-то старались скрупулезно исполнять обязанности сторожей, и мы неоднократно видели, как они все втроем уходили в близлежащую деревню, и по целому дню их не было ни возле танка, ни вообще в эшелоне.

Это все жители нашего эшелона видели и знали, и пшеница в больших количествах ходила в виде товара на нашем базаре.

Решились и мы с Иваном. Полтора часа я просидел на паровозе и когда окончательно убедился, что черные фигурки танкистов полностью исчезли из поля зрения по дороге в дальнюю деревню, мы с двумя мешками и вооруженные совковой лопатой с укороченной для удобства рукояткой двинулись к пшеничному эшелону. В крайнем вагоне пшеницы уже было не более по-ловины — люди трудятся. Мы нагрузили мешки, Ивану килограммов семьдесят, мне килограммов тридцать, благополучно добрались до нашего базара и немедленно включились в коммерческий процесс.

По отсутствию торговых навыков и даже с жизненным опытом Ивана первый блин оказался комом. За всю принесенную нами пшеницу один хит-рый дедок выдал нам литровую бутылку самогона, шмат сала килограмма в полтора, немного картошки и пачку листового табака. Только мы собрались отправиться на избранную в качестве базы легковую машину, как к нам подошел один из наших начальников, по чину ОТ-мастер. Он ничего не требовал, ничего не просил, но и без этого было ясно, ради чего он к нам подошел. Иван, чертыхнувшись в сторону, предложил ему стаканчик, но тот отрица-

тельно покачал головой и достал фляжку (приготовил уже, гад). Пришлось делиться по-настоящему, по-русски, то есть на троих. Иван отлил ему треть самогона, отрезал примерно третью часть сала. От остального ОТ-мастер отказался, слава Богу.

Два дня мы с Иваном парили-жарили, пили-ели, гуляли по буфету. То, что добыча наша была в некотором роде не совсем пропорциональна по назначению, так как я — непьющий и некурящий, меня ничуть не обижало; ведь Иван тащил в два раза больше меня, да к тому же на следующий день променял половину добытого табака на сахар, а это уже мне в угоду.

На третий день мы уже превратились в организованную преступную группу: к нам сам подошел упоминавшийся ОТ-мастер и сам предложил повторить акцию, пообещав в случае необходимости помощь и защиту. Те-перь, уже он сидел на паровозе главным наблюдателем, а мы ожидали сигнала. Операция и на этот раз была успешной, так же успешной была и коммерция, а раздел добычи был по предыдущему образцу.

Из приключений была одна перестрелка, ночью, мы были заперты в ва-гоне, а стреляли из того села в полукилометре от путей, а с нашей стороны -из-под вагонов. Кто стрелял с той стороны, так и осталось неизвестным. Кто-то считал, что из села стреляли партизаны, а большинство — что это были просто перепившиеся пассажиры из нашего же эшелона.

Время шло, а наш эшелон не двигался, и уже никто не верил, что он вообще когда-нибудь тронется. Становилось все холоднее, как-никак середи-на октября, а в вагонах, ни у нас, ни у немцев, печек не было.

Наконец это дошло до какого-то неизвестного нам начальства, и наши вагоны начали освобождать от груза. Работа была тяжелая, так как автомашины не могли подойти вплотную к вагонам; приходилось все перетаскивать вручную. Загружали одновременно пять-шесть машин, и с ними уезжало три-четыре человека из наших.

Нас оставалось все меньше и меньше. Наконец, нас осталось последними шесть человек, в том числе мы с Иваном.

Вот и последний рейс. Грузим из оставшегося, что можно погрузить, бросаем неисправные машины и еще много чего разного, нас сажают на машины, и мы прибываем в город Житомир.

Здесь, в Житомире, мы так и остались группой в шесть человек; куда делись остальные, мы так и не узнали. Занимались мы одной работой: пили-ли на электрическом циркуляре дрова, кололи их и складывали. А потом их развозили, уже без нас, куда-то по всему Житомиру.

В первой половине ноября советские войска стремительным и неожиданным ударом захватили Житомир. Немцы бежали из города с такой поспешностью, что даже Организация ТОДТ, никогда не бросавшая на произвол судьбы свое имущество, на этот раз отступила от правила: весь персонал за полчаса уселся в автомашины (погрузили и нас) и рванул по направлению на Новоград-Волынский, оставив все.

Отъехали мы недалеко, а через несколько дней, когда немцы выбили советские войска из Житомира, возвратились в город, несколько дней лихорадочно метались по Житомиру, собирая, что осталось и что можно было погрузить. На этот раз ОТ не мешкала, и мы тронулись в путь. Собирая всякое разнородное имущество, мы при погрузке из одного склада обнаружили двухсотлитровую деревянную бочку с топленным коровьим маслом и тайком погрузили ее на одну из машин.

Считалось, что мы остановимся на постоянное пребывание в г. Ровно, но наша колонна простояла в городе около часа, а затем двинулась дальше. В городе Дубно мы наконец

разместились в старинном католическом монастыре с толстенными кирпичными стенами. Мы ухитрились перетащить в нашу келью упомянутую бочку и активно занялись истреблением ее содержимого, пока чей-то бдительный глаз обнаружил ее, и она была от нас отбрана. Содержимое ее мы все-таки на добрую треть сократили.

Здесь мы шестеро тоже пилили дрова, на этот раз вручную, и разносили по занятым помещениям монастыря. Нас особенно не охраняли; правда, на воротах всегда круглосуточно стоял часовой, но если нам приходилось выходить, то часовой мог спросить, куда мы идем, а мог и не спросить.

В городе мы были раза три; тут я впервые видел повешенного человека. Повешен он был в парке на дереве, и не на веревке, а на проволоке, на груди висела табличка с надписью: «Партизан. Он убивал немецких солдат».

Вот здесь судьба моя и изменилась неожиданно и круто. 5 декабря 1943 года нам двоим: мне и еще одному, Николаю (это был не тот Николай, который командовал нами в Лубнах, а другой, родом из Ростовской области), было приказано собраться с вещами и приготовиться к поездке. Мы попрощались с Иваном, друг он был честный и надежный, и двинулись в путь.

В Луцке, уже ночью, нас двоих доставили в расположение какой-то воинской части, где нам предоставили место для ночлега, а утром все выяснилось. Нас передали в казачий эскадрон, который находился в составе Организации ТОДТ и занимался охраной строящихся объектов, складов материалов и прочее в таком духе. Со мной беседовали командир эскадрона Кайзер (чин его по классификации ОТ я не помню) и заместитель командира сотник-казак. После беседы мне объявили, что мне присвоен чин ефрейтора, чем я в душе порядком повеселился. Еще мальчишкой после героических фильмов типа «Чапаев» все мы мечтали о военной карьере. В мечтах я видел себя кем угодно, но только никак не ефрейтором. Но так получилось.

Как я уже сказал, наш эскадрон был подразделением ОТ, задачей которого и была охрана объектов ОТ в Луцке. Я попал в группу, которая по ночам выставляла посты на территории большого лесозавода, расположенного недалеко от нашей казармы, и патрулировала прилегающие улицы.

Никаких происшествий или нападений на наши объекты не было. Только один раз весь наш эскадрон был двое суток под ружьем: невдалеке от Луцка все эти двое суток шел непрерывный бой: стрельба, грохот разрывов, ракеты и рои трассирующих пуль были всем нам хорошо видны. Говорили, что это было столкновение крупных отрядов советских партизан с бандеровцами. Кто кого одолел, мы так и не узнали.

Наш эскадрон представлял собой отряд из 120 казаков или людей, проживающих в традиционных казачьих областях. Было несколько кавказцев: адыгейцев и карачаевцев. Немцев в эскадроне было четыре человека: командир эскадрона Кайзер, снабженец Фриц Крамер, один немец непонятной должности, возможно, в качестве переводчика, бывший ваффен-эсэсовец, чем он очень гордился, но после тяжелого ранения попавший в ОТ, и четвертый — простой конюх, пожилой, хилый и унылый.

Несколько казаков были с женами. Женщины работали на кухне и в прачечной и тоже считались служащими по выдаче пайков. Из командного состава, кроме сотника, были: один хорунжий, три вахмистра и сколько-то урядников.

Вооружен эскадрон был плохо: одни винтовки и несколько ручных пулеметов. Видно, считалось, что в настоящих боях эскадрону принимать участие не придется. Что же, не очень и хотелось.

10. О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ

Итак, с 6 декабря 1943 года я стал военнослужащим казачьего эскадрона, который хотя и не сражался на фронте и не собирался этого делать и в будущем, был все-таки антисоветским и антикоммунистическим формированием, находившимся под полным

идеологическим влиянием белогвардейцев, тех самых, которые сражались против большевиков еще в сравнительно недавнее время, в годы гражданской войны. При этом никто меня не спрашивал о моем желании или нежелании стать в ряды борцов против большевизма, против сталинского режима, за что-то более приемлемое для всего советского народа (это в тогдашней формулировке). Просто меня привезли, сгрузили с автомашины, дали винтовку и лычку на погоны и сказали: «Становись в строй!»

Как я отнесся к этому событию? Коротко не ответишь, поэтому я и хочу рассказать так, как указано в заголовке этой главы, по Владимиру Маяковскому.

Родился и вырос я в коммунистической семье. Мой отец Георгий Варфо-ломеевич вернулся в начале 1918 года с Кавказского фронта полностью оболыпевиченным, активно включился в пропаганду большевизма, а когда на Северном Кавказе развернулись боевые действия, вошел в состав красно-го партизанского отряда. Отряд был крупным, человек в 700, но было очень мало оружия и совсем не было толковых командиров. Поэтому отряд где-то возле Армавира был разгромлен в течение нескольких дней, а оставшиеся 300 человек были захвачены в плен. Здесь отцу довелось видеть своими глазами самого Деникина, которого отец почему-то называл Денекиным и считал его своим спасителем.

Экзекуция, или правильнее сказать, расправа, происходила следующим образом. Руководивший ею офицер приказал коммунистам, евреям и матро-сам выйти из строя. Вышло человек десять; их отвели шагов на тридцать и расстреляли. Офицера это не удовлетворило, он заявил, что в отряде, где все добровольцы, не может быть так мало коммунистов, и потребовал или выйти добровольно, или указать на таких скрывающихся. Никто не вышел, никого не выдали. Тогда офицер приказал рассчитаться по порядку номеров; каждого десятого, а эта человек тридцать, также отвели и расстреляли. Теперь тот прика-зал рассчитаться на первый-второй-третий. Рассчитались, отец — второй, но кого из них тому офицеру вздумается уничтожить на этот раз, никто не знает.

Вдруг показывается, пыля по степи, легковая машина, сопровождаемая конным конвоем всадников в двадцать. Оказывается, сам Антон Иванович Деникин со штабными чинами. Подъезжают; офицер лихо докладывает: так, мол, и так, выявляю красную сволочь. Что-то они негромко разговаривают, потом Деникин подходит к строю.

— Здорово, братцы!

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

— Ну, что, еще будете воевать с нами?

— Никак нет, ваше превосходительство!

— Расходитесь по домам, да смотрите у меня!

И уехал. Все пленные не сразу поверили в происходящее, но расправа была прекращена, их увели в какую-то станицу и загнали в большую загород-ку с кирпичной стеной. Там они пробыли всю ночь, опасаясь, что это все-таки какая-то ловушка, но ранним утром, убедившись, что их никто не охра-няет, разбежались по своим селам и станицам. Отец, вернувшись в станицу через несколько дней, узнал, что станичные старики решили его убить, ушел из дома со своим другом; они перешли фронт и вступили в Красную Армию.

Так рассказывал отец. Он много чего рассказывал нам: мне и моему среднему брату Виктору. Ведь отец принимал участие во всех сколько-ни-будь значительных событиях на Северном Кавказе, был в известной 11 армии, командующими которой были Сорокин, Федько и другие знаменитые коман-диры, видел в боях Кочубея, Книгу, а с Жлобой и Апанасенко были хороши-ми друзьями. Когда красные войска на Северном Кавказе были разгромлены, он с уцелевшими остатками проделал тот самый смертельный поход через калмыцкие степи на Астрахань, в котором до Астрахани дошла едва ли чет-верть бойцов, а затем участвовал в обороне Астрахани и Царицына. Когда Кавказская армия генерала Врангеля захватила Царицын, а толпы дезоргани-зованных и деморализованных красноармейцев бежали на север, к Камыши-ну, их задержал только знаменитый поезд Льва Троцкого, на котором все были в кожаном. Троцкий все-таки остановил бегущие толпы частично сво-ими зажигательными речами (отец два раза слышал речи Троцкого), а час-тично массовыми расстрелами струсивших или бросивших свои подразде-ния красных командиров.

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

После этого отец в составе той же 11 армии участвовал в «освобождении от проклятых буржуев» Баку, Эривани и Тифлиса. В 1919 году он стал членом ВКП(б), принят ячейкой 32-й стрелковой дивизии, и закончил гражданскую войну командиром пулеметной роты.

После окончания войны отец, благодаря командирскому опыту, партийному стажу и некоторой грамотности, стал постоянным номенклатурным работником районного уровня, работая на разных хозяйственных должностях.

Мой старший брат Алексей закончил 10 классов, отслужил в армии, а вернувшись в станицу, стал деятельным комсомольцем и к началу войны был первым секретарем Ярославского райкома ВЛКСМ. 23 июня 1941 г. ушел в армию.

Средний брат Виктор 20 июня был на выпускном школьном вечере, а через два дня началась война. Последние два года в школе он был секретарем школьного комитета комсомола, то есть тоже был активным комсомольцем.

Из всего рассказанного вроде бы вытекает, что я должен был быть пропитан коммунистическим духом насквозь и, как выражался один опереточный персонаж, даже глубже. Но этого не произошло. Я даже не поступил в комсомол в школе, куда меня усиленно тянули и дома, и в школе.

Я много читал, очень много. По сути дела, я прочел всю нашу Ярославскую районную библиотеку, и не только литературу художественную, но и политическую, и историческую. Меня очень интересовали события революции и гражданской войны; и об этом, с дополнениями из рассказов отца, я знал очень много. Лет с одиннадцати я регулярно читал газеты, центральные и местные, и следил за внутренними и международными событиями. Помню, как я передвигал красную нитку на карте Испании вслед за передвижением фронтов гражданской войны.

Грянул 1937 год. Прошло несколько просто оглушающих судебных процессов, где еще недавно великие пролетарские полководцы и бесстрашные борцы за дело рабочего класса и соратники Ленина превращались в негодяев и подлецов, продававших свою родину и свой народ за горсть сребреников, и достойных по этой причине самой лютой казни. Которая им, конечно, и обеспечивалась пролетарским правосудием с Вышинским

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

и Ульрихом. Мое смятение увеличивалось и школьными событиями: чуть не каждый месяц нам приказывали замазывать черной тушью портреты в учебниках истории, затем начали приказывать вырезать портреты из книг, а потом было просто велено сдать все учебники истории, суля страшные кары тому, кто не сдаст.

Я было сунулся с вопросами к отцу, но он хмуро оборвал меня и приказал ни с кем на эту тему даже не заговаривать.

Каток сталинских репрессий дошел уже и до нашей станицы. Первый секретарь райкома Хаетович был арестован, увезен в Армавир и там, по слухам, расстрелян в эту же ночь. Были арестованы председатель райисполкома Рябочкин, половина сотрудников аппарата исполкома, 13 из 19 председателей колхозов, оба директора МТС, почти весь персонал районной ветлечебницы и Бог его знает, кто еще. Позже в Ярославской был организован над ними показательный процесс, его транслировали по сети радио и громкоговорителями на улицах. Я тоже слушал и, будучи совсем мальчишкой, поражался тем нелепостям, которые там произносились, преподносились как вражеские действия, направленные на подрыв Советской власти, а то и как реставрацию капитализма. Хорошо еще, что их не объявили японскими шпионами, но приговоры были суровыми: Рябочкин и несколько других получили по 15 лет, остальные тоже немало.

Сгущались тучи над отцом. Он занимал в это время должность районного уполномоченного Комитета по заготовкам при Совнаркомом СССР, то есть был третьим лицом в районе и к тому же неподвластным райкому, что приводило к некоторым стычкам. Хаетовичу иногда хотелось подправить кое-какие цифры, чтобы район выглядел лучше, но отец не шел ни на какие подтасовки, и это, конечно, влияло на их отношения. Совсем другие отношения, вполне дружеские, были у отца с Рябочкиным, он бывал и у нас дома с женой Марьей Михайловной, которая преподавала у нас литературу.

Так вот, когда отца «разбирали» на партсобрании, его обвиняли в том, что он был «другом врага народа» (это за Рябочкина) и что они с Хаетовичем маскировались «враждой», чтобы им было сподручнее совместно проводить вражескую работу в пользу всемирного империализма. Одним словом, как говаривал мой дед: «Что сову пеньком, что сову об пенек».

Отца исключили из партии, и ожидалось худшее. Мать и отец не спали по ночам, и если где-либо поблизости слышалось тарахтенье автомобиля, они вскакивали с постели и подходили к окнам: не за нами ли? За отцом так никто и не приехал. Почему это произошло после таких обвинений, никаких объяснений отец не давал, а на вопросы матери отвечал, что произошло чудо.

Что это было за чудо, я узнал много лет спустя, во время хрущевской оттепели, после разоблачения культа личности Сталина и начала процесса реабилитации сотен тысяч, а то и миллионов жертв сталинско-бериевского режима. Помогло же этому и то обстоятельство, что в это время вопросами поиска пострадавших и их реабилитации занимался в райкоме КПСС мой двоюродный брат Виктор Меркулов. Он изучал архивы, разыскивал уцелевших свидетелей, информация от которых тоже могла повлиять на ход расследования и решение о реабилитации.

Он и рассказал мне об этом чуде.

Вся районная верхушка была вызвана в Краснодар, за исключением, конечно, тех, кто уже был арестован и тех, кто уже был ликвидирован. Партийное и советское краевое руководство все уже было «врагами народа», кругом были новые люди, а один из секретарей крайкома вроде был привезен из Ставрополя, и никто его еще не знал в лицо. Процедура сортировки «быть или не быть, вот в чем вопрос» была следующей: все толпились в приемной и в коридоре, в кабинет вызывали по одному, и там в течение пяти-десяти минут этот вопрос решался. У дверей кабинета стояли два «лба» из НКВД; каким-то образом они получали сигнал из кабинета, и у выходящего было две судьбы: или его эти два «лба» брали под руки и выводили в другие двери, или же они выходящего не трогали, и он свободно выходил в коридор и отправлялся на все четыре стороны.

Вызвали Рябочкина. Через несколько минут он вышел, чекисты взяли его под руки, он повернулся, проговорил: «Жора, скажи Марье Михайловне ...», — но его резко толкнули и вывели.

Следующим был отец. Зашел в кабинет, сидят трое: в середине новый секретарь крайкома, по бокам краевой прокурор и начальник краевого НКВД, на столе груды бумаг. Секретарь поднимает голову и с удивлением спрашивает: «А ты как сюда попал?»

Вот оно чудо! Партизан из того же отряда, что и отец, вместе воевали, вместе попали в плен к деникинцам, вместе были спасены, как они считали, самим Деникиным. Фамилий они оба не помнили, а в лицо друг друга узнали. Начальник НКВД что-то начал тому говорить, показывая на лежащие перед ними бумаги, но тот качнул головой и сказал: «Езжай домой, разберемся». В полной достоверности этого рассказа я не уверен, но другого у меня нет.

Через месяц или два, инструктор крайкома приехал в Ярославскую, было проведено партсобрание по рассмотрению жалобы отца. Это уже была пятая или даже десятая жалоба; я потому знаю, что я их все писал под диктовку отца, ибо почерк отца не смог бы разобрать ни один аптекарь. Эти жалобы знакомые отца или наши родственники тайком бросали в почтовые ящики железнодорожных поездов; отец опасался перехвата писем на нашей станичной почте. Ни на одну жалобу ответа не было. Особенно отец надеялся на помощь или хотя бы на ответ от Иосифа Апанасенко, которого считал своим другом и которому однажды крупно помог. Во время одной из партийных чисток отец был хотя и рядовым членом комиссии по чистке, но голос имел. Апанасенко был обвинен в партизанщине и невыполнении приказов (а за ним это водилось) и только голос отца спас его от исключения из партии. Апанасенко не ответил, хотя не исключено, что он письмо просто не получил. А возможно, он и сам в это время был под дамокловым мечом как очередная жертва. Ведь из его боевых товарищей, воевавших на Северном Кавказе, уже попали под топор очень многие: Левандовский, Жлоба, Ковтюх, если я не путаю. Скорее всего, и он чувствовал себя не очень уверенно, чтобы влезать в какие-то хлопоты по защите почти разоблаченного «врага народа».

Партсобрание было бурным, доносители-хулители-обвинители не сразу сложили оружие, но инструктор был неумолим: не надо слухов и сплетен, давайте факты. А фактов, кроме преферанса с врагом народа, не было.

Отца восстановили в партии, но с этого времени он замолчал, не рассказывал нам, своим детям, ничего, да и с другими людьми поступал так же.

Рассказал Виктор мне также, за что расстреляли Хаетовича. Он был эстонский еврей и эстонский коммунист. Компартия в Эстонии была запрещена, он был в подполье и руководил какой-то группой. Полиция раскрыла их группу, ему угрожал арест, он перешел границу, и его оставили в СССР. Человек он был опытный и грамотный, ему, естественно, хотелось должности повыше, но тогда существовало правило, по которому

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

для назначения на пост первого секретаря райкома нужен был определенный стаж, которого ему не хватало. И он в той затертой, замызганной эстонской бумажке, кото-рая должна быша подтвердить партийный стаж, подправил одну цифру. За это и был расстрелян без суда. И жену свою обрек на мучительную смерть. В нашей станице до войны не было воров, и двери не запирались. Но одна воровка в станице все же была. Звали ее тетка Маруська, и она несколько раз попадалась то на одной курице, то на нескольких початках кукурузы. Ей дава-ли три-четыре месяца. Когда началась война, она отбывала свой очередной срок, но быстро возвратилась и всем рассказывала, что была в одном лагере с женой Хаетовича. Их везли с Западной Украины, но немцы пересекли пути движения их эшелона. Тогда охрана распустила уголовниц, а политических загнали в несколько вагонов и сожгли.

Как же могли повлиять все эти события в стране, в станице, в семье, вся эта информация из газет, радио, рассказов отца и множества слухов на миро-воззрение и миропонимание развитого, начитанного, склонного к анализу подростка? Стал ли я убежденным антисоветчиком, ярым врагом коммунистической идеи?

Нет, конечно. Для этого у меня просто не хватало знаний, не было достаточного жизненного опыта. Я ничего не знал о ЧК, кроме того, что у чекистов чистые руки, холодная голова и горячее сердце. Я ничего не знал о методах и способах коллективизации и раскулачивания. Я пережил голод 1933 года, я видел валявшиеся на улицах станицы трупы людей, но я не представлял его масштабов, его причин и следствий. Я знал о суще-ствовании знаменитого людоедского закона от седьмого-восьмого, но я не мог даже представить количество жертв этого закона. А я ведь был «активным участником» применения этого закона. Нам, первоклашкам, выдали большие жестяные бляхи с надписью «Охрана урожая», и мы шай-ками человек по десять бегали по скошенным полям, а завидев собирав-шую колоски бабку, с дикими воплями окружали ее. Затем конные комсо-мольцы с такими же бляхами вели ее в станицу, и она шагала босыми ногами по стерне, зажатая с двух сторон конями. Думаю, что даже Аль Капоне не провожали столь торжественно.

Что же произошло со мной? Я просто перестал всему верить: и газетам, и радио, и художественным произведениям социалистического реализма, и выступлениям политиков — всему! Попытка что-то вычитать между строк, уловить какой-то потаенный смысл, но все это плохо мне удавалось — не хвата-ло знания жизни.

Меня изрядно коробило и неумеренное восхваление Сталина, припи-сываемые ему во всех аспектах жизни успехи, тем более что отец, расска-зывая нам о гражданской

войне, очень скромно оценивал роль Сталина в обороне Царицына.

Это недоверие к любому произнесенному или напечатанному слову сохранялось у меня и здесь, в казачьем эскадроне. Мы получали газеты «Ка-зачья слава» и журнал «На казачьем посту»; в них публиковалось много ма-териалов о советской жизни во всех ее аспектах, но я и им не здорово верил, то есть был чистым апостолом Фомой, который заявлял, что не поверит, если не вложит свои персты в раны Господни. Вот и я не мог нигде воочию увидеть эти самые «раны», то есть убедительные факты, доказывающие правдивость и истинность приводимых в газетах рассуждений и изложений.

И только в ГУЛАГе я увидел столько людей, столько этих самых фактов, что для такого количества «Господних ран» не хватит никаких перстов. Это была в своем подлинном виде Энциклопедия всей советской жизни в ее ста-линском варианте.

Но это было потом.

Читатель уже, конечно, понял, что вступление в казачий эскадрон не было для меня какой-то трагедией. А было любопытно и познавательно.

Кроме того, мне страшно надоело пилить дрова.

11. БЕГ

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

Новый 1945 год ваш эскадрон встретил в городке Сулеев, расположенном километрах в двадцати восточнее Петрокова, по-немецки Петрикау, по-польски Петркув. Сулеев стоит на реке Пилице, притоке Вислы; по этой реке немцы возводили линию укреплений, а делом этим, конечно же, занималась организация ТОДТ. Наш эскадрон нес свою привычную служ-бу: охранял строящиеся объекты, доски, бревна, бетономешалки и так далее. Разместились казаки в зданиях известкового завода, а унтер-офи-церский состав — в нижнем этаже большого двухэтажного жилого дома, принадлежавшего местному зажиточному поляку, В одной из комнат нас было трое: вахмистр Петр, урядник Каплан, адыгеец и я, тоже уже став-ший урядником. Жили мы дружно.

Руководила строительством ОТ, а рабочую силу поставляли три лагеря, вернее, один лагерь, разделенный проволокой на три части: советские воен-нопленные, евреи (говорили, что это венгерские евреи) и польская моло-дежь, парни и девушки 16-18 лет, которые сменялись через каждые две неде-ли. Польская часть лагеря, хотя и имела ворота, вышки и прочие атрибуты, но никто их не охранял, а в проволочном ограждении, обращенном в сторону Пилицы, поляки проделали огромную дыру, через которую ходили все, в том числе и мы, направляясь купаться на Пилицу.

Тогда мы ничего не знали об Освенциме, Майданеке и прочих подоб-ных местах, мы нигде не видели убийств и других способов уничтожения людей, но обращение немцев с евреями было жестоким, просто бесчело-вечным. Вот простой пример: кончается рабочий день, наша группа подхо-дит, чтобы принять объект под охрану, конвоиры начинают строить рабо-чих, но если с советскими пленными обращаются более или менее по-чело-вечески, в крайнем случае покрикивают, то евреев бьют, толкают, травят собаками, страшно смотреть, и потом в лагере тоже можно было это видеть через проволоку, и не один раз.

Местность была лесистая, кое-где лес подступал вплотную к окраинам Сулеева. Однако никаких опасных событий не происходило: поляки на нас не нападали, мы их не трогали. Более того, иногда были очень любопытные случаи. Так, однажды, в станционном буфете один изрядно подвыпивший «пан» рассказывал нам целых полчаса, как они следовали за нашим эскадро-ном от города Кельце, где мы выгрузились с эшелона, до самого Сулеева по местности, где везде торчали знаменитые немецкие плакаты с надписью «Опасность банд. Проезд запрещен!» При этом они все время обсуждали вопрос: нападать или не нападать? Они нас не тронули.

Все вооруженные отряды в окружающих лесах принадлежали Армии Крайовой и подчинялись Лондонскому правительству, которое не очень-то дружило с СССР.

Каплан завел любовные шашни с дочкой хозяина нашего дома, хорошенькой Марысей, и мы с ним часто заходили к хозяевам на второй этаж. Там нередко мы встречались с ее родным дядей, который был лесничим и постоянно жил где-то в лесу. Не знаю, состоял ли он формально в АК, но что у него были с ними постоянные контакты (в лесу же живет), мы ничуть не сомневались. Несколько раз он спрашивал напрямую, на какого «дьябла» мы помогаем бошам. Мы отвечали, что мы не помогаем бошам, а боремся против большевиков, но это его не убеждало. Пару раз он прямо предложил перебежать в лес и обещал все это организовать и устроить.

Все это было до Варшавы. С августа 1944 года положение не только вблизи нашего расположения, но и во всей Польше круто изменилось. Если до этого большинство польского населения с нетерпением ждало прихода Красной Армии, то с началом Варшавского восстания настроение поляков стало откровенно враждебным.

Что бы ни утверждали советские и просоветские историки, в самой Польше в то время все было абсолютно ясным для всех. Лондонское польское правительство, зная, что советские войска вот-вот подойдут вплотную к Варшаве, сосредоточило в городе большинство боеспособных подразделений и даже направило туда несколько министров. Намерения были простыми: АК уничтожает немецкий гарнизон Варшавы и восстанавливает какой-то государственный порядок. Подходят советские войска, и теперь они вынуждены как-то сотрудничать с восстановленной государственной властью и имеющейся у этой власти вооруженной силой. И такое сотрудничество должно осуществляться на всей территории Польши, принятые для двух союзных государств в борьбе с общим врагом.

Так планировали поляки, и вначале события происходили, с их точки зрения, вполне благополучно. 28 июля 1944 года советские войска форсировали Вислу южнее Варшавы и создали плацдарм на ее левом берегу. 31 июля 2-я танковая советская армия прорвалась к Праге — предместью Варшавы на правом берегу Вислы, а на другой день, 1 августа, началось восстание. За первые два дня отряды АК фактически уничтожили немецкий гарнизон Варшавы, и вот она радость — встреча двух армий, сражающихся против одного врага. Это было в мечтах и планах. Действительность была неожиданной и страшной. Советские войска остановились как вкопанные на всем протяжении фронта возле Варшавы. И немцы, пользуясь пассивностью советских войск, принялись усердно и систематически уничтожать бойцов АК и город Варшаву. 2 октября оставшиеся в живых бойцы АК сложили оружие. Прекрасный город Варшава представлял из себя груды развалин, заваленную трупами людей, лучших людей польского народа. Так, по крайней мере, считали поляки.

О том, чего добивались поляки, я уже говорил. Но, как говорится, одно думает гнедой, а другое — тот, кто его седлает. А седлал все события в то время в том регионе только один человек — Иосиф Сталин. Ему же вождю мирового пролетариата, вовсе ни к чему было иметь в Польше людей, наверняка не желавших помогать ему в построении мирового ком-мунизма. Тем более, что он уже заранее, буквально за несколько дней до начала восстания создал в Люблине Польский Комитет нацивального ос-вобождения, в составе которого была, например, Ванда Василевская, по званию — полковой комиссар Красной Армии, и другие подобные ей липо-вые поляки. Была создана и Польская Армия, в составе которой едва ли было много настоящих поляков. Настоящие поляки были в Армии Андер-са и сражались в Италии, а здесь в Польскую Армию загоняли любых рязанцев и вологодцев, лишь бы фамилии их звучали наподобие Ковальс-ких, Малиновских и прочих Перечертановских. Я в своей жизни встречал немало таких людей, служивших в Войске Польском и не знавших ни слова по-польски. Более того, расскажу прямо-таки анекдотический случай. Покупаю как-то еще в советское время, книгу рассказов польских писате-лей. И натыкаюсь на такой рассказ. Автор, просоветски настроенный по-ляк, заканчивает какие-то ускоренные курсы артиллерийских офицеров, получает чин и направляется на службу в артиллерийский дивизион Вой-ска Польского. Напоминаю — ВОЙСКА ПОЛЬСКОГО. Прибывает он туда и оказывается единственным офицером в дивизионе, говорящим по-польски. В дивизионе офицеров — человек 25-30.

Вот тебе и польская армия!

Вот по всему этому и стояли советские танковые дивизии на берегу Вис-лы, ожидая, когда немцы добьют Армию Крайову.

И это знали все. Знали и немцы. Всем известно, какие жестокие рас-правы учиняли немцы над захваченными партизанами и вообще участни-ками Сопротивления в любой стране. На этот раз все было по-иному. Немцы отнесли к сдавшимся повстанцам просто милостиво, многих разослали по рабочим польским лагерям, где они были без охраны, по крайней мере, видимой. Эта все было сделано для того, чтобы они расска-зывали полякам о событиях в Варшаве. В Сулеев тоже привезли человек 5-6; с двумя из них я очень подробно беседовал. Я сейчас читаю в Советской Энциклопедии «Великая Отечественная война», сколько тысяч самолето-вылетов сделала советская авиация, снабжая повстанцев всем необходи-мым. А мои собеседники утверждали, что за два месяца восстания Сове-ты не сбросили ни одного патрона, ни одного сухаря. Некоторую помощь, хотя и совсем недостаточную, оказывали англичане, аж из самой Англии, на четырехмоторных бомбардировщиках.

Кому верить? Я склонен больше верить самим полякам, ведь в той же Энциклопедии я вижу столько всякой и разнообразной лжи по многим событиям, по многим личностям, и вообще по всему на свете.

Результат же этих и советских и немецких действий был один — ненависть всех, повторяю, всех поляков ко всему советскому. И после этого Сталин хотел построить в Польше социализм.

Даже наш приятель дядя-лесничий теперь говорил: «Если вы теперь заявитесь в любой отряд, а там узнают, что вы намереваетесь ждать красных, вас убьют в тот же день». Что касается просоветских партизанских отрядов АЛ (Армии Людовой), то что-то я о них не слышал. Возможно, эти отряды существовали только в советской и просоветской пропаганде.

Ноябрь, декабрь. Стало холодно, выпал снег. К тому же у нас появился особо проклятый объект. В глухом лесу начато строительство какого-то важного командного пункта, а это в шести километрах от Сулеева. Каждый день в час ночи туда отправляется смена, а предыдущая возвращается в казармы.

Меня это все вроде бы не касалось: я был командиром пулеметчиков. У нас в эскадроне было четыре станковых пулемета Шварцкозе, правда, один из них неисправный. Это были неуклюжие, тяжелые окопные пулеметы времен первой мировой войны, с водяным охлаждением, на мощных треногах, с длинными пламегасителями.

Вообще, делать этим пулеметам было нечего, и пулеметчики ходили в обычные караулы. А я время от времени подменял урядников в разных местах.

Но дьявол в своих античеловеческих деяниях не дремлет, и я влез все-таки в чрезвычайно неприятное для меня дело.

Был у нас в эскадроне один казак по фамилии Антипов в возрасте под пятьдесят. Служил он сапожником, и было у него две пламенные страсти, а точнее две ненависти. Первая — он люто ненавидел Советскую власть, а вторая — так же, если не сильнее он ненавидел всех мало-мальски грамотных людей, считая их всех виновниками и малых, и больших бед на белом свете. И, соответственно, никогда не жалел по их адресу русских выражений во всем их многообразии, Я, естественно, попадал под его ярость, а так как я не имел привычки молчать, то это приводило к перебранкам и стычкам (без драк, конечно, потому что и он, и я не употребляли крепких напитков).

После одной из таких перепалок мне сказали, что разбушевавшийся казак пообещал четверть бимберу — польской самогонки тому, кто отправит меня на «проклятый» объект. Я немедленно передал это вахмистру Петру, который был не прочь «заработать» эту четверть, он немного, помялся, но я проявил настойчивость (ну, не осел?), и он согласился.

В двенадцать часов ночи я впервые веду смену на «проклятый» объект. Идем по извилистой тропинке в густом лесу, и я сразу же думаю, что если кому-то вздумается устроить на нас засаду, то нам всем здесь и гибель, некоторые меры все же принимаю: разбиваю наш отряд на три части: впереди мы двое, метров через десять шестеро, еще через десять последнее два. Так появляются хоть какие-то шансы кому-нибудь успеть занять оборону.

Доходим благополучно, нас окликают. Никаких паролей, узнаем друг друга по голосам. Урядник уходящей смены объясняет мне схему караула. Я расставляю своих, а те уходят.

Схема такая: три парных поста по приблизительно равнобедренному треугольнику со сторонами метров 70-80, внутри треугольника — готовый блин-даж, возле него — ручной пулемет с двумя пулеметчиками. Мое место в блин-даже с одним помощником; и мы с ним должны через каждые полчаса-час обходить парные посты.

После первого обхода и некоторых размышлений я пришел к такому выводу: если кто-то вздумает на нас напасть, защитить наши доски и железки мы не сможем. Хуже того, защитить мы не сможем и самих себя, что гораздо, важнее. Нужны реформы, и они последовали незамедлительно. Треугольную конфигурацию я сохранил, только теперь сторона стала размером метров десять, так что часовые могли видеть друг друга и при

необходимости даже разговаривать. И вместо двух на постах и возле пулемета я оставил по одному, и они могли менять друг друга. Теперь мы смогли бы в случае чего какое-то время продержаться.

Конечно, к утру, когда должна была подходить рабочая сила, а с ней всякое начальство, мы разместились по старой схеме и отрапортовали, что все в порядке, а доски целы.

Хорошие идеи распространяются быстро.

12 января 1945 года советские войска начали одно из своих самых мощных наступлений на всем фронте, почти, как говорили поляки, «од можа до можа». А 15 января рано утром наш эскадрон двинулся из Сулеева. Конный взвод на конях, а мы пешком. До Петрокова добрались быстро, а дальше движение замедлилось: дороги были запружены движущимся транспортом всех типов и видов. Почти проехали Петроков и остановились снова: впереди пробка. Мы втроем: Петр, Каплан и я прошли вперед с полкилометра, дошли до перекрестка и остановились, поджидая свою колонну. Но не дождались.

Послышался грозный гул; с востока приближалась большая, штук в 20, группа советских пикирующих бомбардировщиков ПЕ-2. Все бросилась врас-сыпную, я перепрыгнул каменный канальчик шириной чуть меньше метра, подумал было, что хорошо укрыться в нем, но по нему текла вода, хотя и всего на пару сантиметров, но ложиться в воду в январе я не решился.

Во время войны по всей Европе возле дорог везде были вырыты щели для укрытия от воздушных налетов. Я добежал до такой щели, и хотя она была уже забита людьми, лег сверху. И сразу раздался вой пер-вой бомбы. Щели эти роятся зигзагом, и так получалось, что я лежал на одном конце щели, а на другом точно в таком же положении лежал не-мец-майор. Мы оказались в роли наблюдателей, потому что те, нижние, видеть ничего не могли.

Интересная получалась картина. Мы с майором выкрикиваем: «Пики-рует! Сбросил», и человеческая груда сжимается, мы с майором опускаемся и тоже оказываемся ниже уровня земли, то есть в укрытии. Потом грохот разрывов, свист пролетающих осколков, и

мы начинаем потихоньку припо-дыматься над землей. И так — много раз. В нашу щель ни одна бомба не попала, иначе я не рассказывал бы эту историю.

Все имеет свой конец, самолеты отбомбились и уходят, все уцелевшие выбираются из своих укрытий. Я снова перепрыгнул через канальчик и вижу, что некоторые поднимаются и из него. Смерть страшнее, чем мокрая шинель.

Что творится на дороге! Все разбито, изуродовано, трупы убитых, крики раненых, куски разорванных тел людей и лошадей. Кругом кровь, кровь, кровь. Наша троица собирается вместе: что делать? Неизвестно, что с нашим эскадр-роном, досталось и ему или миновала его чаша сия?

Размышлять некогда: на небе с востока опять что-то гудит. В это время почти рядом с нами послышался рокот работающего двигателя, видим: не-сколько солдат завели уцелевший грузовик и вот-вот тронутся. Повторяю -размышлять некогда, мы забираемся в кузов автомобиля и поскорее от страш-ного, перекрестка. А там, через пару минут опять загрохотало.

Мы достаточно знали географию этого района Польши, чтобы быстро по дорожным указателям определить, что едем мы в сторону Лодзи, что было нам совершенно ни к чему. Если наш эскадрон еще цел, то движется он или в сторону Бреслау, или в сторону Глогау, где есть переправы через Одер. Поэтому в городе Пябьянице мы покинули автомобиль и двинулись пешком на Калиш, что более или менее отвечало, возможному движению эскадрона.

Итак, наш отряд: три человека, все начальники, вооружение — один авто-мат, две винтовки, три пистолета, продовольствия нет, средств транспорта нет, возможностей ночевать в открытом поле нет. Петр и Каплан в шинелях, я в теплой куртке, которая туда-сюда: можно сделать камуфляжной, можно бе-лой. Но и в ней на голую землю или снег не ляжешь. Положение почти как наполеоновской армии, уходящей из Москвы.

Движемся пешим порядком, расспрашивая поляков. Мы можем обой-тись и без расспросов, но нам не хочется идти по хорошим автомобильным дорогам, памятуя Петроков и ПЕ-2. Поэтому мы и используем по возможно-сти всякие боковые дороги,

дорожки и тропиночки. Поляки не сразу понима-ют, кто мы такие, а это мы им и не очень разъясняем. Просто мы с Капланом уже вполне сносно говорим по-польски, и это здорово помогает.

Прошли километров пятнадцать, начинает темнеть, пора подумать о ночлеге. Видим справа, в полукилометре от дороги, большую группу стро-ений и направляемся туда. Крупный фольварк, конюшни, телятники, сви-нарники, мастерские, много людей, все — поляки. Переночевали, утром нас накормили, можно в путь, но у кого-то появляется идея: а не разжить-ся ли нам здесь транспортом? Находим управляющего — поляка, он рас-сказывает, что владелец всего этого, немец уехал позавчера, сказал, что вернется через неделю, строго приказал, чтобы все было в порядке, ника-ких потерь и убытков.

Мы в свою очередь разъясняем ему ситуацию, говорим, что немец не вернется ни через неделю, ни через сто недель, а через неделю здесь будут большевики, которые заберут все без разговоров, и отвечать будет не перед кем. А ему самому, если он хорошо служил немцам и не хочет за это полу-чить от большевиков что-то страшное, лучше всего взять подводу и скрыться у каких-либо родичей в глухой деревне. А кроме того, он должен выдать нам пару лошадей и подводу.

Управляющий было слегка помялся, но я настрочил ему расписку, что воинская часть № 1785/17 реквизировала подводу с лошадьми для военных надобностей, и он уступил. Каплан считался у нас лучшим специалистом по лошадям, и уже через час мы выезжали на подводе, запряженной парой ве-ликолепных лошадей и с тремя мешками овса.

Если управляющий не последовал нашему совету, он совершил боль-шую глупость. Мы ему говорили о неделе. Разговор этот состоялся 16 января, а уже 19 января Красная Армия захватила Лодзь, а это от его фольварка не более 40-50 километров.

А мы несемся легкой рысью на Калиш. Кони — ясные соколы, спасибо Каплану. Если движение всего потока по шоссе кажется нам слишком мед-ленным, то мы направо, через кювет, пахота, не пахота, нам все равно, нахо-дим какую-нибудь проселочную или полевую, и — вперед. Прикидываю, что наша средняя скорость раза в три выше той шоссеиной скорости непрерыв-ной разнотранспортной змеи.

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

Происходят и неожиданности. Едем вот так полевой дорогой, впереди шагает человек с винтовкой на ремне, и спина этого человека кажется нам знакомой. Догоняем, точно — Ленька, казак из нашего эскадрона, вернее быв-ший казак. Самый недисциплинированный, нередко под газом и на посту неаккуратный, короче говоря, грешный во всех отношениях. Его неоднократно наказывали и, наконец, из Сулеева куда-то отправили, по слухам, в лагерь военнопленных. И вот теперь он нам попался на глухой польской дороге.

Теперь наша группа вообще стала превращаться в подлинное войсковое подразделение — у нас появился первый рядовой.

Наша маневренность имела еще одну очень благоприятную сторону, она, во-первых, давала возможность вообще объезжать населенные пункты, где сильно замедлялось движение, а во-вторых — уменьшало опасность по-пасть под бомбежку, что уже однажды и произошло. Все немецкое население уходило на запад до последнего человека, оставляя дома, вещи, скот и всякие запасы. Это была уже территория не генерал-губернаторства, а районы, полностью включенные в состав рейха. Поляки здесь не имели никаких прав и только могли быть работниками у немцев, помещиков или полупомещиков. Жили немцы по нашим тогдашним понятиям очень богато. Дома, обстановка, мебель, ковры, посуда — все это просто поражало. Всякого тряпья, даже очень богатого, можно было набрать сколько угодно, но мы ничего не брали, зачем нам все это? Только в одном доме мы погрузили на подводу с десятков роскошных одеял, атласных и украшенных узорами из мелких перламутровых пуговиц, причем из настоящего перламутра. Для нас это было просто необходимостью, приходилось ночевать и в сараях, и в чистом поле. Хотя и жалко было иногда укладывать такую красоту на грязную солому.

Транспортную проблему мы решили. Настало время решить и продовольственную. Подъезжаем к вечеру к очередной усадьбе. Роскошный дом, метрах в ста — жалкие халупы поляков. Распрягаем, осматриваемся. Коровники, свинарники, живности всякой много. Решаем приступить к заготовкам.

Для начала посылаем Леньку за поляками. Вообще, если надо кого-то привести, то Ленька в таком деле незаменим. Через десять минут трое мужиков-поляков перед нами. Объясняем: нужно зарезать трех свиней и к утру разделать и засолить. Половина мяса — ваша. Поляки не соглашались, боялись наказаний со стороны немцев. Нужно сказать, что здесь, на территории Германии совсем другие поляки, чем в Генерал-губернаторстве; там — гордые, смелые, здесь — забитые и запуганные.

После некоторых переговоров они соглашаются заняться разделкой, если мы сами зарежем свиней. Ну, это не вопрос. Ленька идет в свинарник, не-сколько выстрелов, и «забирайте свиней и начинайте!»

Проходим мимо одной из запертых дверей, я спрашиваю поляка, что здесь, он отвечает: мука. Открываем дверь, действительно, штабель мешков с мукой. Когда на мой вопрос поляк отвечает, что их «кобеты» сами пекут хлеб, я отправляю с ним мешок с заданием напечь к утру сколько можно хлеба.

Работа закипела: поляки разделяют, режут, смолят соломой, солят, ук-ладывают. А у нас — кто-то на посту, мы не ночуем без охраны.

— Пан офицер, а голову куда?

— Тащи домой. Вас трое, и голов три.

— Пан офицер, — это очередному постовому, — а кишки куда? А печенку?

— Все тащите домой.

И так далее. Конечно, мы бы не отказались от свежей колбаски, но дело это требует времени, да и работа эта женская, а женщин в нашем дружном коллективе не было.

К утру все было готово: на подводе два больших деревянных ящика с засоленным салом, один ящик со свежим мясом (январь все-таки) и мешок муки. Подошли две полячки, принесли двенадцать огромных как автомобиль-ное колесо караваев с райским запахом и немедленно начали варить свежую свинину с луком. Все поляки сначала отказывались разделить с нами трапезу (мы — паны, они — рабы), но мы настояли, и пир удался на

ДИВО.

Подхожу к одной из полячек, которые пекли хлеб. Не молоденькая, лет тридцать, но красива как богиня. Полячки — самые красивые женщины на свете; это еще Пушкин знал, а я подтверждаю.

— Мука дома есть? — спрашиваю.

— Мало.

— Иди, скажи мужу, чтобы взял мешок муки и отнес домой.

Она заулыбалась и стала еще краше, хотя это, вроде, было и невозможно, подходит к мужу, разговор идет, она требует, он отказывается. Я подзываю Леньку, мы забираем поляка, подводим к кладовке, поворачиваем спиной к кладовке, берем мешок, кладем ему на плечи и выводим за ворота.

— Скажи мужу, — говорю я красавице, — если он сбросит мешок на дороге, мы его уьем.

И они пошли.

Вот здесь у меня и появилась мысль о политической и экономической реформе. Мы знали, что при Польше здесь были крестьяне-единоличники, жили бедно, но корова была у каждого. Немцы забрали землю и отобрали коров, поляки стали батраками и без коров.

Реформу одобрили все, и через 20 минут Ленька организовал все: чело-век пятнадцать

поляков стояли перед крыльцом нашего дворца, а с десяток женщин робко толпились возле ворот, не ожидая, видимо, ничего хорошего.

Я произнес речь по-польски.

— Я не вем, Панове, цо то бендзе с земье, але крову, хто хце, може отши-маць... и так далее в том смысле, чтобы они сейчас же разобрали коров по дворам, потому что немцы не вернуться, а Советы заберут все, и поляки опять останутся ни с чем. Женщины возле ворот оживились, заговорили, но мужики почти не среагировали: стоят и хмуро молчат. То есть, ясно обнаружилось четкое политическое размежевание: пани — за, паны — против. Тут снова включился Ленька, он взял ближайшего поляка за плечо и повел в коровник; и вот они выходят, поляк ведет корову за веревку, привязанную к рогам, а Ленька подталкивает прикладом, нет, не корову, а поляка.

— Доведи до дому, привяжи во дворе и скажи ему, что если выведет корову на улицу, мы его уьем, — кричит громко Леньке Петр по-русски, но поляки понимают шутку, ухмыляются, не боятся.

После этого человек пять-шесть к радости женщин взяли по корове, и повели ко дворам уже безо всякого нажима.

Время нас поджимало, и закончить реколлеktivизацию полностью не удалось, хотя и часть муки мы успели раздать. Мы двинулись в путь, теперь уже достаточно обеспеченные продовольствием, к тому же перед самым отъездом нам погрузили на подводу бидон с молоком.

На следующий день, двигаясь в общем потоке, мы увидели впереди ка-кой-то городок и, как всегда, свернули с асфальта, проехали небольшою рощу, нашли подходящую объездную проселочную дорогу и уже находились на одном уровне с центром города, как появилась большая группа советских самолетов и устроила настоящий ад в городе, хорошо видный нам с возвышенности, по которой пролегалла наша дорога. Грохот, дым и пламя закрыли весь город. Вовремя мы свернули. Вдруг видим: от города прямо по полю к нам мчится всадник. Главное — всадник в белой папахе. Мы замахали руками, даже стрелять вверх начали. Подъезжает он к нам. Разговор простой.

— Казак?

— Казак. А вы: кто?

— И мы казаки.

— А еда у вас есть?

— Есть, сколько хочешь.

— Можно, и я к вам? -Валяй.

И стало у нас конное разведывательное подразделение. Подъезжаем к Одере. Мост в городе Глогау. По всей нашей нескончаемой колонне разговоры: на мосту строжайший контроль, всех задерживают, сортируют, а кого-то ловят и даже расстреливают. Нам все это ни к чему, мы сами по себе, и решаем, что и мост нам не здорово нужен, мы и по льду где угодно перебе-ремся. А то засадят куда-нибудь в окопы. Не тут-то было. Оказывается, не-мецкие саперы круглосуточно взрывают лед на Одере. Интересно, зачем? Чтобы затруднить дальнейшее продвижение приближающихся советских войск или же исключить бесконтрольную переправу движущихся неоргани-зованной массы своих собственных солдат?

Пришлось все-таки через мост. Действительно, здесь сортировали стро-го, я бы даже сказал: жестоко. Мы с Петром подошли к вахмистру с орлом на груди, он посмотрел наши документы, спросил, сколько нас и махнул перчат-кой: проезжайте, мол. Оборона Одера обошлась без нас.

К вечеру этого же дня нас ожидал еще один сюрприз. Едем мы это, не торопясь, тем

более, что теперь не знаем, куда ехать. Но в смысле марш-рута Господь нам помог. Видим, по обочине дороги шкандыбают своими кривыми ногами наш эскадронный командир ОТ-фюрер Кайзер. Сам шагает, а эскадрона близко нет. Подъехали, он страшно обрадовался. Мы посадили его на наше транспортное средство, и первым делом он указал нам маршрут. Он родом был из местности возле Вайсвассера, там жила его семья, а это от Глогау около ста километров. За два дня мы добрались до его родных мест. Город это или деревня, не знаю, в Германии они не очень отличаются. Мы поселились в школе, выспались, помылись, искупались (где-то Кайзер раздобыл нам сменное белье). Место глухое, здесь военных, наверно, еще в глаза не видели. Мальчишки за нами, особенно за кавалеристом, стайками ходят: вот, мол, отчаянные вояки. Пробыли мы здесь три дня, Кайзер откуда-то привез нам маршбефель на город Колин в Чехии, устроил нам всем прощальный обед с жареной картошкой и мик-роскопическими порциями шнапса, и мы двинулись в дальнейший поход, оставив хозяевам мешок муки, который мы так и не открыли, и с десятком килограммов сала, чему они страшно обрадовались, ибо с продовольствием в самой Германии было туговато.

Германия. Едем, кругом тихо, мирно, никакой войны не чувствуется. Дети играют, девушки по вечерам в каком-нибудь помещении танцуют, и мы иногда подключаемся. Каплан и я танцуем вальсы и танго по-настоящему, остальные из нашей шайки — так, чтобы при случае пощупать кое-кого, впро-чем, безо всяких скандалов. Никакого, пренебрежения или снисходительности к «унтерменшам» (мы же славяне) не чувствуется.

Возможно, это в какой-то степени объясняется тем, что мы не заезжаем в города, не желая нарваться на авиацию союзников, а в деревнях все попроще, в том числе девчонки.

Плохо одно. По любой дороге через 5-7 километров обязательно каба-чок, поесть в нем можно только по карточкам или талонам, которых у нас, конечно, нет. А вот пивом хоть залейся и без всяких карточек. Стоит оно копейки, уж не помню, то ли пятнадцать, то ли двадцать пфеннигов, но именно этих несчастных пфеннигов у нас и нет.

Пробуем реализовать наши замечательные атласные одеяла, но покупателя-телей на них не находится.

Германия — не Польша. Это в Польше можно было продать все: хоть рваную шинель,

хоть ботинки без подошвы за соответствующую, само со-бой, цену.

Здесь ничего продать невозможно, а что-либо военное — даже нечего и думать.

Наконец, одна толстая немка смилостивилась и поддалась на наши уго-воры, но купить согласилась не одеяла, а только пуговицы. Мы всем отрядом далеко за полночь стригли эти проклятые пуговицы и утром отдали ей целую кастрюлю. Теперь на пиво хватало. Я до тех пор пиво даже не пробовал. Теперь мне понравилось темное бархатное. Все равно, больше одной круж-ки я не выпивал, а ребята пили и по 5-6 кружек сразу.

Пересекли границу протектората Чехия и Моравия. Тут сразу же, на пер-вой же ночевке, едва не попали в переплет. На этот раз мы решили заночевать в усадьбе одного чеха. Если хорошо понимаешь по-польски, то и с чехом разговаривать легко. Мы с хозяином порассуждали о том, о сем, он накормил нас горячим супом и молоком, и мы улеглись. Но спать пришлось недолго. После полуночи вдруг загремело, загрохотало так, что весь дом вздрагивал. Мы выскочили во двор, там уже стоял хозяин. А невдалеке, километрах в 10 -как раз в том направлении, куда мы собирались ехать вчера, творилось, нечто ужасное, там было море огня. Хозяин сказал, что там находится небольшой завод по производству искусственного горючего: из угля делали бензин. Ско-рее всего, бомбили именно этот завод.

На следующий день мы проезжали мимо этого скорбного места. Ничего не скажешь: чистая работа. Завод этот располагался не в населенном пункте, а в чистом зеленом озимом поле, километрах 2-х от дороги, по которой мы ехали.

От завода осталась только, совершенно бесформенная и плоская груда развалин. А в радиусе около километра воронки лежали так густо, что ни травинки зелененькой видно не было. А дальше воронки, по нашему разуме-нию, от полутонных бомб, располагались все реже и реже в зелени поля, а несколько воронок добрались и до нашей дороги; мы их объехали. И все это было сделано ночью.

В Колине мы получили маршбефель на Прагу, и нам было приказано передвигаться дальше железнодорожным транспортом, а лошадей и подводу сдать на следующей станции. Мы выполнили эти указания наполовину: по-ехали дальше железной дорогой, а

лошадей и подводу продали чехам и обес-печили себя продовольствием на долгое время.

В Праге мы получили направление на город Цветль в Австрии, куда надо было ехать через Вену.

Железнодорожный транспорт представлял в это время в Германии жал-кое зрелище. Английские и американские самолеты гонялись буквально за каждым поездом, станции и мосты подвергались постоянным ударам с воз-духа. Вагон, в котором мы ехали, не имел ни одного целого стекла, зато всяких непредусмотренных дыр было в нем предостаточно.

До Вены или, вернее, до нужного нам вокзала мы не доехали. Поезд остановился, было объявлено, что дальше он не пойдет, и мы двинулись пеш-ком. Через пару километров дошли до моста, полюбовались величествен-ным «голубым Дунаем» и едва сошли с моста, раздались сигналы воздуш-ной тревоги. Искать стационарные бомбоубежища, не зная города, было бессмысленно, но сразу справа за мостом был небольшой скверик, а в нем щели, туда мы и бросились.

Союзники бомбили с очень большой высоты, так что даже четырехмо-торные бомбардировщики были едва заметны в небе. Первая тройка сделала поворот прямо над нами и, видя эти белые кривые полосы, мы решили, что целью будет именно наш мост через Дунай. Помня же тот бензиновый заво-дик, уже предвидели свой конец. Однако, поворот этот обозначал поворот всей армады и больше ничего. Я сначала считал самолеты, досчитал до двух-сот и бросил. Видно, было штук триста; и они громили промышленный рай-он Вены на левом берегу Дуная, то есть, откуда мы пришли.

Бомбардировка закончилась, мы прошли по улицам Вены, разыскивая нужный нам вокзал Франца-Иосифа, нашли его и к вечеру уже ехали дальше. До Цветля прямые поезда не ходили, пришлось пересест на другой. Тут меня подводит память, я не помню, была ли это узкоколейка, только помню маленькие, сильно раскачивающиеся вагончики, и как мы переезжали про-пасти по узеньким мостикам без боковых ферм и даже без перил. Страшно было даже глянуть вниз.

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

Позже мне пришлось наблюдать со дна такой пропасти, как далеко вверху на высоченных каменных опорах как будто тонкой ниточкой висел мост, а по нему шел игрушечный поезд.

Мы прибыли в Цветль, возле которого располагался 5-й Запасной каза-чий полк, который собирал, формировал и направлял пополнения 15-му ка-зачьему кавалерийскому корпусу.

12. 15-й КАЗАЧИЙ КОРПУС

Я прибыл в 15-й казачий кавалерийский корпус, и все события моей бли-жайшей жизни связаны с этим войсковым соединением. Что же это было такое -15-й корпус? Надо дать читателю ясное понятие об этом, и тут у меня полное расстройство в мыслях. Об этом корпусе можно написать множество книг, и за рубежом их немало издано. А можно дать небольшую справку для тех читателей, которые, зная много чего о Великой Отечественной войне, до сих пор и представить себе не могут, что могло существовать крупное воин-ское соединение, насчитывающее к концу войны 25 тысяч бойцов, состоящее почти полностью из советских граждан и сражающихся с оружием в руках против советских войск и их коммунистических иноземных помощни-ков и соратников.

С началом войны сразу обнаружилось, что множество советских граж-дан не горело желанием сражаться за советскую власть. Это обстоятельство не один раз отмечал в своих приказах Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин, указывая, что бойцы и командиры Красной Армии не проявляют нужной стойкости и толпами сдаются в плен.

Таким образом, многомиллионные цифры находившихся в немецком плену советских

военнослужащих объясняются не только талантами германских фельдмаршалов и высокими боевыми качествами вермахта, но и нежеланием советских людей проливать кровь за призрачные идеи социализма, который, как утверждал Сталин, уже был построен в СССР.

Более того, среди тех, кто не хотел воевать за Советы, обнаружилось немало таких, которые желали бороться против Советов, и не только в полиции или в городских управах, но и с оружием в руках на фронтовых позициях. Так, командир полка Красной Армии — донской казак майор Иван Кононов перешел с крупной группой подчиненных командиров и бойцов на сторону немцев и сразу же организовал вооруженный отряд для действий на фронте. И это был не единственный случай.

И гражданское население городов и сел Советского Союза нередко поначалу встречало, особенно на Украине, входящие немецкие войска весьма дружелюбно, иногда даже с цветами и хлебом-солью, считая, что это событие является началом долгожданного освобождения от большевиков и их «вождя и учителя всех народов». И, думается, правы те историки Второй Мировой войны, которые утверждают, что если бы немцы, выполняя политическую стратегию германского нацистского руководства и ослепленные своими успехами в военных действиях в Европе, не начали сразу и немедленно проявлять свою звериную и бесчеловечную сущность в презрении ко всему не немецкому, результаты Второй мировой войны были бы другими.

Особый разговор о казачестве. Сейчас идут споры о том, что такое казачество: сословие или народность, а то и вовсе некое новое определение «эт-ническая общность», хотя никто толком не знает, что сие означает. В эти споры я сейчас включаться не буду, только скажу, что как казачество ни называй, а оно сыграло важнейшую роль в истории России. Есть историки, которые считают, что без казачества не было бы и России. Конечно, имеется в виду не теперешняя общипанная Россия. Возможно, в этих утверждениях и есть некое-торое преувеличение, но были Ермак, Поярков, Хабаров, Атласов, Дежнев и многие, ныне безвестные казачьи головы и атаманы, и именно они, а не царские воеводы и стольники, раздвинули пределы России до вод Тихого океана и Северных льдов, а затем стали на охрану новых рубежей державы.

Нет необходимости рассказывать о деяниях казаков на службе Российской державе в многочисленных русско-турецких войнах, в русско-прусской, русско-шведской, Отечественной войне 1812 года и других событиях, где требовались высокое воинское мастерство, доблесть и чувство неистребимого боевого товарищества. Сам Наполеон

Бонапарт позавидовал российскому императору Алек-сандру 1 в том, что тот имеет у себя таких замечательных воинов как казаки.

В пламенных событиях 1917 года, когда русская армия под влиянием во-енных неудач и большевистской пропаганды стремительно разваливалась, только казачьи части, абсолютно не зная дезертирства, сохраняли воинское устройство и в порядке возвращались домой. Только малая часть казаков пришла с фронта «обольшевиченными», подавляющее большинство каза-ков не приняли идей большевистской пропаганды и поэтому все оказались на «белой» стороне в разгоревшейся гражданской войне. По сути дела, во всех белых армиях главной военной силой были казаки.

Эти обстоятельства, а возможно, и просто страх перед большим количе-ством людей сплоченных и свободолюбивых, вызвали у большевистских ру-ководителей яростную ненависть к казачеству. Так было принято решение о «рассказачивании», то есть о ликвидации казачества численностью в несколь-ко миллионов человек, как чего-то особенного и хоть чуть-чуть самостоя-тельного. Руководство этим процессом возглавляли такие вожди как В. Ле-нин, Л. Троцкий и Я. Свердлов. Выше этих людей в тог-дашней иерархии ком-мунистической власти в России не было. А заканчивал эту живодерскую «работу» уже Иосиф Сталин.

«Рассказачивание» заключалось как в прямом физическом уничтожении казаков путем массовых расстрелов, производимых ЧК, ЧОНами и много-численными ревкомками, так и реквизициями, высылками целых станиц и заменой казачьего населения привозимыми «бедняками» из центральной России, а позже принудительной коллективизацией, раскулачиванием, голо-домором 1933 года, причем, процесс выселения и переселения контролиро-вался в свое время лично Лениным.

Все эти намерения были выполнены большевистской властью с завид-ной настойчивостью и беспримерной жестокостью. Казачество всех суще-ствовавших войск было практически уничтожено. Во время моего детства в нашей станице само слово «казак» не употреблялось.

Казачество, как я уже сказал, было уничтожено, но казачий дух уцелел, он тлел в душах многих людей и ждал своего часа, чтобы разгореться сильно и ярко. И дождался.

Практически с первых дней войны начали создаваться группы и отряды казаков, решительно настроенных на вооруженную борьбу против Советской власти, причем происходило это не по немецкой инициативе, а в первое время и без их поддержки. Однако, вскоре убедившись в абсолютной надежности казаков и в высокой эффективности их действий в боевой обстановке, немецкое фронтовое командование стало оказывать казакам всемерную помощь оружием и снаряжением, что сразу же привело к укрупнению казачьих отрядов и созданию уже настоящих воинских частей.

Указывая на высокую эффективность действий казаков, приведу один пример. В феврале 1942 года в районе Смоленска немецкие войска окружили прорвавшийся в глубокий тыл кавалерийский корпус Красной Армии под командованием генерала Белова и приступили к его уничтожению. Принимавший участие в этой операции 600-й казачий батальон численностью в 2000 казаков (немцы никак не хотели именовать его полком) под командованием майора И. Кононова взял в плен 700 красноармейцев и командиров, захватил более тысячи лошадей, 23 орудия, 5 танков и много другого военного имущества. Многие ли из хваленых немецких танковых дивизий могли совершить такое за несколько дней боев.

С вступлением немецких войск в типично казачьи области Дона, Кубани и Терека в 1942 году начался бурный рост численности казачьих частей, причем этот процесс активно поддерживался фронтовыми немецкими офицерами, включая такие фигуры как генерал-полковник, позднее фельдмаршал фон Клейст, командир корпуса генерал Шенкендорф и многие другие. Этому способствовала репутация казаков как отличных воинов и непримиримых борцов против большевиков в гражданской войне.

В высших сферах германского руководства этот процесс одобрения не находил. Наиболее сильными его противниками были глава так называемого «Министерства восточных территорий» Альфред Розенберг по причине своих расистских убеждений и высший вождь СС и руководитель Имперского управления безопасности Генрих Гиммлер, считавший, что ни один человек не немецкого происхождения не должен иметь доступа к оружию.

Однако, Берлин далеко, а фронт близко, и летом 1942 года в боевых действиях принимало участие уже 6 или 7 казачьих полков и большое количество отдельных батальонов, сотен и других мелких казачьих групп, как на участках группы армий «ЦЕНТР», так и на Северном Кавказе. Успешный опыт применения казачьих частей на

фронте и в антипартизанских операциях, а общее количество казаков в них превысило 20 тысяч, привело к тому, что встал вопрос об организации крупного казачьего соединения, однако только после Сталинграда, когда у высшего германского руководства поубавилось высокомерия и самоуверенности, в апреле 1943 года было принято решение о создании 1-й казачьей дивизии.

Формирование дивизии производилось на учебном полигоне возле города Млава в Польше. Дело было нелегкое. Даже такие крупные отряды как батальон Кононова или полк Юнгшульца, достаточно многочисленные и хорошо организованные и вооруженные, требовали переформирования в стандартно оформленные полки, а из прибывавших мелких боевых групп и партий из лагерей военнопленных необходимо такие же полки создавать заново.

Сразу же возникла проблема командного состава. Старших офицеров среди казаков почти не было, а из приезжающих казаков-белоэмигрантов в строевую службу мало кто подходил по причине преклонного возраста и двадцатилетнего отрыва от воинской службы. Назначались немецкие офицеры, что не очень-то нравилось казакам.

Здесь необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. К этому времени германским командованием было создано несколько так называемых «легионов» из советских граждан нерусских национальностей: азербайджанских, армянских, грузинских, туркестанских и т.д. Воинские части этих легионов не превышали батальона (позже были попытки формирования тюркской дивизии), возглавлялись немецкими офицерами и, хотя часть командного состава и была из легионеров, но порядки были такие, что, скажем, немецкий фельдфебель имел больше власти, чем тот же грузинский капитан.

В некоторых казачьих отрядах, прибывавших в Млаву, были такие же порядки, но теперь, в дивизии, немецкие офицеры, стремящиеся их сохранить, из дивизии безжалостно изгонялись. Внедрялись служебные отношения исключительно на основе подчиненности и чиновничества, и теперь тот же немец-вахмистр тянулся в струнку перед казаком-лейтенантом и козырял как миленький. Пресекалась даже подача строевых команд на немецком языке, что, безусловно, практиковалось во всяческих легионах.

Сформированная дивизия состояла из шести полков:

1-й Донской полк,

2-й Сибирский полк,

3-й Кубанский полк,

4-й Кубанский полк,

5-й Донской полк,

6-й Терский полк.

5-й Донской полк возглавил подполковник Иван Никитович Кононов, получивший к тому времени уже известность, как среди казаков, так и в кругах немецкого командования. Командирами остальных полков были назначены немецкие офицеры, среди которых были и выходцы из Прибалтики, в совершенстве владеющие русским языком, что, конечно, немало способствовало их авторитету среди казаков. Командирами дивизионов были в большинстве также немцы, а эскадронами и взводами командовали преимущественно казаки. Только в 5-м Донском полку, у Кононова, все офицеры были только казаками, ни одного немецкого офицера в полку не было.

Командиром дивизии был назначен только что произведенный в генерал-майоры Гельмут фон Паннвиц, блестящий кавалерист и офицер редкой отваги. К этому времени за действия на Восточном фронте он был награжден Рыцарским крестом с дубовыми листьями, наградой очень высокой, которую в сравнении с советской наградной системой можно приравнять (условно, конечно) с дважды Героем Советского Союза.

По-русски он не говорил, но знал польский язык, и для украиноговорящих

казаков-кубанцев проблем в общении с ним не было. В решении тех проблем между казаками и немцами, о которых я говорил раньше, его не-сомненная заслуга.

К началу сентября 1943 года комплектование дивизии было закончено, численность ее составляла более 18 тысяч бойцов. Что это были за люди, и какими путями шли они в дивизию?

Много было добровольцев, настоящих, убежденных и беском-промисс-ных противников большевизма; большинство из них не служило в Красной Армии. Когда началась война, я был страшно удивлен тем, что некоторые мои знакомые по школе ребята, как постарше на год-два, так и мои ровесни-ки, а мне было 16 лет, ушли в леса (наша станица предгорная, лесов вблизи сколько угодно), а потом при вступлении на Кубань немецкой армии посту-пали в добровольческие казачьи формирования. Значительная часть казаков прибыла из центров сосредоточения казачьих беженцев, ушедших вместе с отступающими немецкими войсками на запад и организованных в конце 1943 года в так называемый Казачий Стан под командованием Походного атамана полковника С. Павлова.

И все же основным источником для формирования 1-й казачьей дивизии были лагеря советских военнопленных. Шли они в дивизию по разным моти-вам. Многие абсолютно добровольно и осознанно, стремясь вступить в борьбу с оружием в руках, многие — полудобровольно (читатель помнит, как я попал в казачью часть), многие — лишь бы выбраться из-под колючей проволоки немецких лагерей, хотя в 1943 году условия были в них совсем не такие, как в 1941. Были и просоветски настроенные люди, которые, получив свободу и оружие, надеялись при случае перебежать к советским войскам или партиза-нам. Таких было немного: за все время существования дивизии-корпуса де-зертировало 250 человек, бьш случай, когда в Югославии перешел к титовцам целый взвод во главе с лейтенантом. Один такой случай произошел на моих глазах, о чем я расскажу в свое время.

Каким был состав дивизии по национальным признакам? В дивизии были, хотя и в незначительном количестве северокавказцы: адыгейцы, кабардинцы, карачаевцы, осетины. Я не служил в отделе кадров казачьих формирований и не могу назвать точные цифры, но по моей приближенной оценке в дивизии-корпусе было процентов десять-пятнадцать не природных казаков, а жителей, русских людей — выходцев из традиционных казачьих областей. Выходцев из других частей России, по-моему, не было. Во всяком случае, мне не приходи-лось встречать казаков из Рязани, Пензы или Вологды.

Никакой дискриминации по отношению к горцам и вот таким каза-кам-неказакам не было. Отношения были абсолютно боевые — товарищеские, истинно казачьи. Это понятно — по извечной казачьей традиции чело-век, попавший в казачье войско, уже становился законным казаком. Иног-да слышались разговоры от старых эмигрантов, что необходимо таких казаков приписывать к конкретным станицам соответствующих войск, но где теперь были эти станицы?

Дивизия была готова, и встал вопрос о ее боевом применении. Направ-лять кавалерийскую дивизию на Восточный фронт, где имело место постоян-ное массовое применение танков (только что закончилось Курское сраже-ние, где произошли самые крупные в истории человечества танковые битвы), было призвано нецелесообразным. Дивизия получила приказ о направлении ее во Францию, где ожидалась высадка англо-американских войск, но такое решение вызвало решительные возражения со стороны старших казачьих офицеров. Кононов на совещании командного состава дивизии прямо зая-вил, что англичане и американцы не являются врагами казаков, и ожидать от казаков какого-то усердия в боях против них бессмысленно. Присутствовав-ший на совещании П.Н. Краснов поддержал казачьих офицеров.

Приказ был изменен, дивизия направлялась в Югославию для борьбы против коммунистических партизан Тито, и в сентябре начала погрузку в железнодорожные эшелоны. Учебно-запасной казачий полк остался в селе Моково, недалеко от Млавы.

Прибыв на Балканы, казаки попали в бурлящий огненный котел. После военного поражения Югославии все соседние государства урвали от нее не-малые территориальные куски, а Хорватия стала самостоятельным незави-симым государством под руководством своего фюрера Анте Павелича. Политические противоречия смешались с давней национальной враждой, все это сплелось в неразрешимый кровавый клубок: все воевали против всех, но явной победы никто одержать не мог. Постепенно все большую силу приоб-ретали коммунистические отряды Тито, активно поддерживаемые как Совет-ским Союзом, так и англичанами, так что в оружии и военном снаряжении недостатка они не испытывали.

В приказе фон Паннвица говорилось: «Наш час настал! Наша борьба направлена на уничтожение большевизма! За свободу казачества!»

Так что отдыхать казакам не пришлось. Буквально с первых дней под-разделения дивизии включились в боевые действия против партизан Тито. Хотя к этому времени называть их партизанами вряд ли было правильно: у Тито уже были сформированы бригады, дивизии, корпуса, прекрасно организованные и вооруженные, которые действовали на огромной площади, предпринимая неожиданные нападения на гарнизоны и коммуникации германских войск. Работы казакам хватало: бригада туда, бригада сюда, полк туда, полк сюда, и любой эскадрон поднимался по тревоге, молниеносно седлал коней и мчался туда, где совершалось нападение, где внезапно возник бой, а иногда и на выручку окруженных и подвергавшихся опасности собственных подразделений.

Территория боевых действий была для дивизии огромной: Хорватия, Сербия, Босния, Буковар, Винковци, Пакрав, Добой, Карловац, Сисак, Бихач, Костайница — это далеко не полный перечень пунктов, в которых подразделения дивизии проводили военные операции. Действия казаков были весьма успешными; с одной стороны это объясняется высокими боевыми качествами и отвагой казаков, а с другой — тем, что в условиях горно-лесистой местности, слабо обеспеченной автомобильными дорогами, затруднявшей действия немецких моторизованных частей, отряды опытных хорошо вооруженных всадников были гораздо более приспособлены для боевых действий, как в обороне от внезапных нападений, так и при преследовании разгромленного противника. Бои были нелегкие, и на казачьем кладбище в Сисаке постоянно добавлялись новые ряды казачьих могил.

В августе 1944 г. генерал фон Паннвиц и полковник фон Шульц были вызваны в резиденцию Генриха Гимmlера в Восточной Пруссии.

Все рассказы об этом событии в советской печати о том, что с этого момента сам фон Паннвиц и все казаки стали эсэсовцами, являются сто-процентной ложью. Гимmlер вызывал фон Паннвица не как рейхсфюрер СС, а как командующий армией резерва, только что назначенный на эту должность вместо генерал-полковника Фромма, арестованного, а впоследствии и казненного по обвинению в причастности к заговору фон Штау-фенберга и покушению на Гитлера 20 июля 1944 года. В обязанности Гимmlера входило теперь обеспечение пополнения действующих воинских частей и формирование новых.

На этом совещании было принято решение о развертывании 1-й казачьей дивизии в казачий корпус. Причин такого решения было три: во-первых, казаки очень хорошо проявили себя в боях, во-вторых, по всей Европе, в особенности в Польше и Франции,

было разбросано много казачьих подразделений, состав которых был пригоден для пополнения корпуса, в-третьих, людские резервы самой Германии после Сталинграда и Курска были практически исчерпаны, и многие соединения уже не могли получать необходимых для достижения штатной численности пополнений, а мальчишки росли слиш-ком медленно.

Предусматривалось иметь в составе корпуса три дивизии: две кавале-рийских и одну пехотную (пластунскую). Командиром пластунской дивизи-ии должен быть казачий офицер. Рассматривалась кандидатура генерала Андрея Шкуро, но окончательно остановились на кандидатуре полковника Ивана Кононова, командира 5-го Донского полка, наиболее отличившегося в боях, хотя и не всегда соблюдавшего дисциплину и правила цивилизован-ной войны.

Уже в сентябре, несмотря на отсутствие формального приказа о форми-ровании корпуса, было начато усиление дивизии и повышение ее боевой мощи: дивизия получила тяжелые минометы, 105 мм гаубицы, зенитные ору-дия, начали прибывать казаки из Франции, где уже происходили бои с выса-дившимися англо-американскими войсками в Нормандии. 5-й Западный ка-зачий полк был переведен из Франции в Австрию.

Тем временем дивизия находилась почти в непрерывных боях, в жур-нале боевых действий появляются новые названия: Баня Лука, Нова Градишка, Оккучани, Копривница, Клоштар, Джурджевац. Бои происходили с неизменным успехом. Многие казаки получали боевые награды, в том числе и железные кресты 2-го и 1-го классов, что до этого времени для не немцев не допускалось.

Время идет, военное положение Германии ухудшается, с открытием вто-рого фронта становится почти безнадежным, казаки чувствовали приближе-ние конца войны, разглагольствования Геббельса о чудо-оружии никого не убеждали, однако никакого уныния и упадка боевого духа не наблюдалось. Какая-то фатальная надежда продолжала оставаться в душах казаков.

В феврале 1945 года появился приказ о присвоении казачьему соедине-нию наименования 15-го казачьего кавалерийского корпуса и назначении его командиром генерал-лейтенанта Гельмута фон Паннвица.

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59

К этому времени реорганизация дивизии частично уже была выполнена: две бригады бывшей дивизии превратились в дивизии, для формирования пластунской дивизии необходимого количества казаков не было, поэтому была создана пластунская бригада из 7-го и 8-го пластунских полков и конно-го разведдивизиона. Командиром бригады был назначен полковник Кононов. Он не хотел расставаться со своим 5-м Донским полком, которым командовал более двух лет, и этот полк вошел в бригаду вместо 7-го Пластунского, а вся бригада получила наименование Кононовской.

А во вторую дивизию в качестве компенсации за выведенный из ее состава 5-й Донской полк были включены два отдельных дивизиона.

Был ли сформирован 7-й полк, я не знаю. Во время моих скитаний в Хорватии, Австрии, затем в проверочно-фильтрационном лагере и многих лагпунктах ГУЛАГа я встречал казаков из всех полков 1-й казачьей дивизии и 8-го Пластунского полка, а казаков из 7-го полка мне встречать не приходилось.

Встречается информация о том, что вместе с нашим корпусом или даже в его составе действовал калмыцкий полк. Но калмыков я тоже не встречал.

И вот, как я уже рассказывал, в первых числах февраля 1945 года я прибыл в 5-й Запасной казачий полк 15-го казачьего корпуса.

(Окончание следует)

ТЕРНИСТЫМ ПУТЁМ. Записки урядника

Автор: Юрий Кравцов
05.07.2010 20:59
